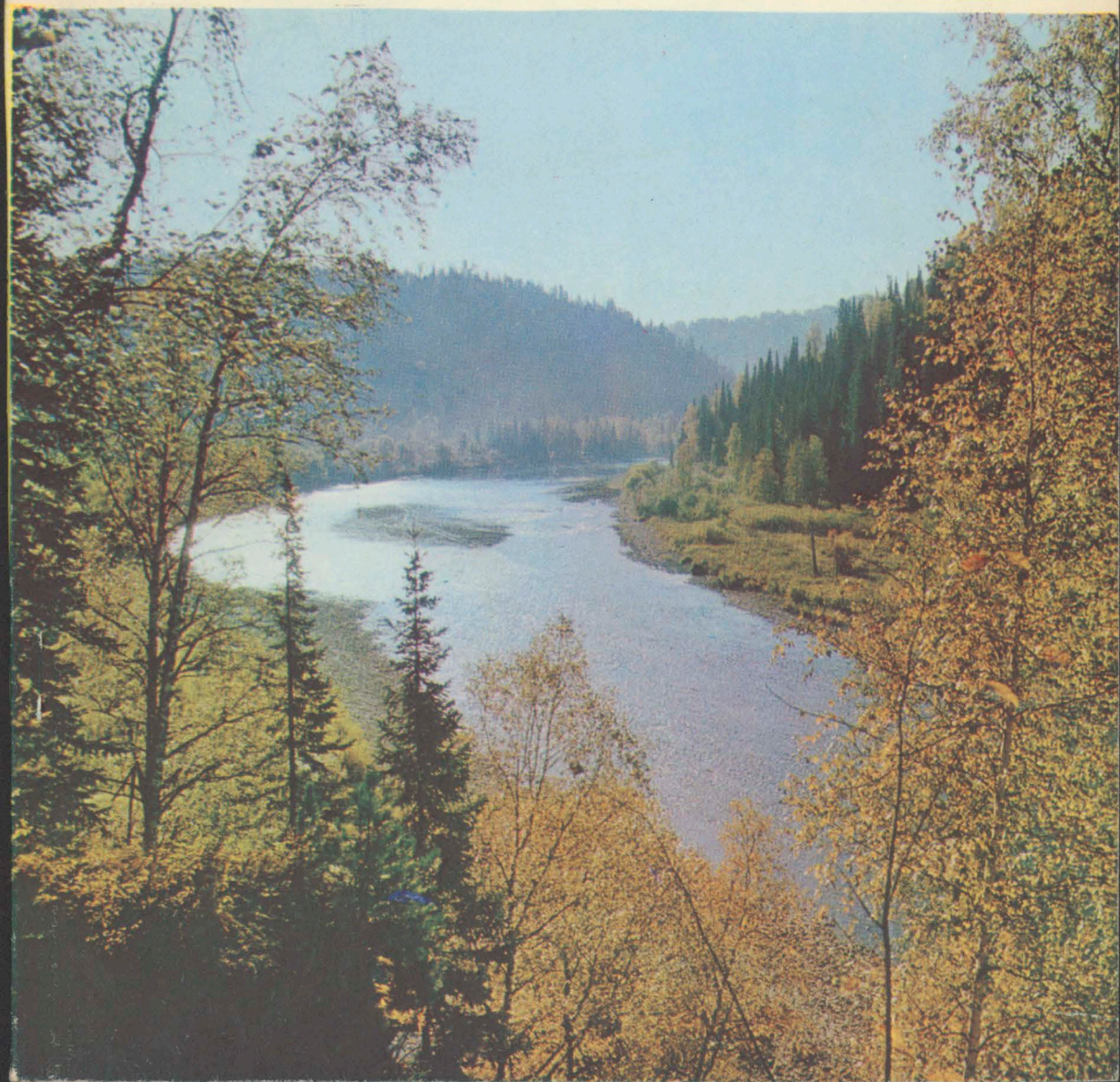


0-38

№ 3 • 81

июль — сентябрь

ОТНН
КУЗБАССА



506911



ОГНИ КУЗБАССА

0-38

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

Выходит ежеквартально

Год издания 33-й

№ 3(72)

ПЕРВЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

В Н О М Е Р Е

СТИХИ

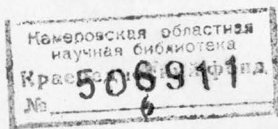
- Михаил Небогатов. Год за годом: «Как юность, просто и лучисто...» «Все войны свой конец имели...» «Творцы картин, симфоний, книг ли...» «Если чувства, как спички, растрчены...» Перепелка. «Нет мысли, думы, чувства ли такого...» «Всю жизнь перед глазами как живой...» В ночь на 22 июня 1945 года. «Покидают тихо жизни праздник...» «И прадеды наши сильнее всего...» «У тебя врачующее свойство...» «Нет, никогда, во век не надоест...» «Безбрежно, вольно на небе высоко...» «Новый стих — как ясное окно...» 3
- Александр Глазырин. Гончар. «Есть одна сибирская река...» «В лесу калину брали...» Травы. «Повспоминать бы с вечера...» «Ищем лиры...» «Поджигает возраст...» 30
- Борис Климычев. Ночь на заимке. «Когда в саду играли где-то скерцо...» 37
- Камава Калинина. Лирические миниатюры 45

ПРОЗА

- Анатолий Ябров. Гости. Маленькая повесть 7
- Евгений Богданов. Там, за стенкой. Рассказ 32



390465



КЕМЕРОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, 1981

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Владимир Валиулин. Праздник на двоих. Рассказ 39

АНТОЛОГИЯ КОРОТКОГО РАССКАЗА

Виктор Старостин. Балёля 47

Афанасий Гуковский. Погоня 49

Василий Долгих. Собачье раскаяние 51

Алексей Бабанин. Мой крылатый дружок. Урок на всю жизнь 52

Николай Карев. Колючие обманщики 53

НАШ СОВРЕМЕНИК

Виктор Лойша. Мой поэзией — пламя. Жизнь инженера Махонина 55

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Геннадий Юров. Земля со мною говорит. Раздумья перед новой книгой 67

ИСКУССТВО

Эвелина Суворова. Спектакли особого назначения. Театр и дети 74

ЧИТАТЕЛЬ И КНИГА

Е. Залесинский. «Скажу свое мнение...» 79

В. Семенов. Три книжки в столице 85

ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА

Анатолий Паршинцев. Утренняя зарядка. Юмореска 86

Никита Емелин. Мелочи быта 86

СТИХИ — ДЕТЯМ

Эдуард Гольцман. Черепаха. Жираф. Ку-ку. Отважный листик 88

Людмила Фадеева. Убежало молоко. Февральские скворечни. Беседа 89

На первой странице обложки: Осенний пейзаж. Фото Н. Карева.

На второй: Дни советской литературы в Кузбассе. Московские писатели на Кемеровском комбинате шелковых тканей. Фото Ю. Сергеева.

Редактор В. М. МАЗАЕВ

Редакционная коллегия: В. М. Баянов, С. Л. Донбай, И. М. Киселев, В. Ф. Куропатов, В. Ф. Матвеев (отв. секретарь), В. В. Махалов, З. А. Чигарева, Г. Е. Юров.

Адрес редакции: 650099, Кемерово-99, Советский пр., 40, тел. 6-26-95, 6-85-22.

Рукописи не возвращаются.

Ведущий редактор Т. И. Махалова; художественный редактор А. С. Ротовский; технический редактор Г. Н. Манохина; корректор Е. А. Царева.

Сдано в набор 8.05.81 г. Подписано в печать 29.07.81 г. ОП10462. Формат 7СХ90¹/₁₆. Бумага типографская № 1. Печать высокая. Усл. печ. л. 6,44. Усл. кр.-отт. 7,17. Уч.-изд. л. 8,37. Тираж 6000 экз. Заказ 9078. Цена 50 коп. Кемеровское книжное издательство. Кемерово, ул. Ноградская, 5. Полиграфкомбинат, ул. Ноградская, 5.

0 70500—39 29—81—4702000000
М 145(03)—81

© Кемеровское книжное издательство, 1981

ПОЭТУ МИХАИЛУ НЕБОГАТОВУ 60 ЛЕТ

Известному кузбасскому поэту Михаилу Александровичу Небогатову исполняется 60 лет.

Вот не хотелось повторять ставшие, может быть, привычными от частого употребления в подобных случаях слова, что, мол, годы для поэта — понятие условное, малозначашее, что он по-прежнему бодр и молод душой, необыкновенно творчески активен и т. д., но тем не менее именно эти слова наиболее точно характеризуют сегодня нашего дорогого юбиляра.

Действительно, чрезмерно повышенное пристрастие к пролетающим невозвратным годам, меланхолически-размягченные вздохи по этому поводу никогда не занимали поэта. Его поэзия жизнеутверждающая, солнцелика, в основе ее — любовь ко всему доброму и по-настоящему красивому на земле, болящая человеческая совесть, нравственная чистота.

Все лучшее из созданного Михаилом Александровичем за долгие годы работы в литературе близко и понятно многим людям — по мысли, по чувствам, по настроению. Он — поэт своеобразного творческого почерка, его стихи всегда отмечены «лицом необщим выраженьем». В наше время бурных ритмов он остается верен внешне спокойному русскому «традиционному» стиху, тонко чувствует слово, умеет мастерски построить и высветлить строку, добываясь точного и ясного ее звучания.

Михаил Небогатов — автор многочисленных газетно-журнальных публикаций и одиннадцати поэтических книг, принесших ему сердечное уважение и признательность земляков.

Пожелаем же нашему другу поэту, достигшему столь почтенного возраста, доброго здоровья и вдохновенной работы. Работы, доставляющей радость себе и многим!

Виктор Баянов



Михаил Небогатов

ГОД ЗА ГОДОМ...

* * *

Как юность, просто и лучисто,
Как юность, свежести полна,
Разноголосе и ручьи
В стихи врывается весна.
В любой строке ее — кипенье.
И как, скажите, не запеть,
Когда кругом такое пенье —
Веселых звуков трель и медь!
Под солнечным горячим душем

Шагаешь, веет ветерок.
А рядом прыгает по лужам
Слепящий огненный клубок.
Глазами жадными лаская
Деревья, встречных, синеву,
С восторгом думаешь: «Какая
Большая радость — жизнь людская!
Как хорошо, что я живу!»

1938

* * *

Все войны свой конец имели.
И эта кончилась война.
Вначале будто онемели
Просторы, где была она.
Последний раз провела миной,
Пропела пульей — и конец.
Над речкой, сопкой и равниной
Затих пожар, остыл свинец.
Пусть счастье светится на лицах!
Мы не забудем до седин
Про День Победы в двух столицах:
В огнях Москва, во тьме Берлин!..
Опишет будущий историк
Неповторимый путь борьбы,
Который был тяжел и горек,
Как испытание судьбы.
И будет памятник построен,
Что не состарится вовек:
Стоит, бессмертия достоин,
Великий русский человек.

1945

* * *

Творцы картин, симфоний, книг ли —
Все эти люди среди нас.
И мы настолько к ним привыкли,
Что мало ценим их подчас.
Заслуги близких не в новинку.
Теплей о предках говорим:
Как счастлив был, кто видел Глинку,
Встречался с Пушкиным, с Толстым...
Вот так, грустя над «Тихим Доном»
Иль шуткам Теркина смеясь,
Не раз со вздохом затаенным
Потомок скажет и про нас:
Мол, были некогда счастливыцы,
С кем шел по жизни до конца
И житель Вешенской станицы,
И автор «Книги про бойца»...

1955

* * *

Если чувства, как спички,
растрчены
На ветру легкомысленных встреч,
Вряд ли фразами мнимо-горячими
Снова сердце сумеешь зажечь.
Все ты в жизни расценивал дешево,
А теперь вот с пустым коробком.
Без детишек, без друга хорошего
Вдруг окажешься, став стариком.
Будешь жить — одинокий,
безропотный,
Вроде старого мшистого пня...
Так порою охотник неопытный
Замерзает в снегу без огня.

1957

ПЕРЕПЕЛКА

Опустело на проселке.
Сна глубокого пора.
Только голос перепелки
Не смолкает до утра.
Только ей одной забота.
Всю-то ночь она, как мать,
Непослушного кого-то
Уговаривает спать.

1957

* * *

Нет мысли, думы, чувства ли
такого,
Чтоб не сумело выразить их слово.
Но иногда в задумчивой тиши
Молчание — как громкий крик души.
Вот дом. Крыльцо.
Окно с поблекшей рамой...
В последний раз я виделся тут
с мамой.
Уже моя в седирах голова...
Ах, как мертвы, никчемны все
слова!..

1960

* * *

* * *

Всю жизнь перед глазами как живой
Увиденный впервой солдат убитый.
Кругом движение, гул, моторов вой,
А он у дома — всеми позабытый...
Был первый день войны. И первый он,
Ничком лежащий, весь под слоем

пыли.

Поздней я видел многих вечный сон.
А этот — всех живее в страшной были.
И чувство в сердце жуткое, как стон:
Уйдя, мы разбудить его забыли...

1972

В НОЧЬ НА 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Я представляю это до сих пор...
Был сладок сон. Тиха была казарма.
Алел восток. И на него в упор
Смотрел фашист с открытого

плацдарма.

Смотрел в бинокль, высок, изящен,
свеж,

Красив своею статностью спортивной...

Был берег уж не берег,

А рубеж,

Простор полей —

Простор оперативный.

Уже мосты —

Места для переправ,

Для гусениц, колес, бегущих

ног ли...

Мир черепиц, садов, соборных глав —

Все четко, близко замерло

в бинокле.

Мы спали. И дышалось так легко.

И ни одна душа среди нас не знала,

Что за рекой —

Совсем недалеко —

Уже война

К прыжку ждала сигнала...

1975

Покидают тихо жизни праздник
Те, чье имя: бывший фронтовик.
Самый молодой войны участник —
Сын полка — и тот уже старик...
Лист газетный. Там, где про

осадки,

Про театр и фильмы строчек строй,
Траурные рамки — как оградки
Над могилой, над землей сырой.

1980

* * *

И прадеды наши сильнее всего
Россию — Расею — любили.
В боях не щадя живота своего,
Зело они врага били.
Все так же в сражениях насмерть

стоим

За отчую землю мы с вами.

Все с той же любовью о ней говорим,

Лишь только другими словами.

1980

* * *

У тебя врачующее свойство:
Если что-то мне грозит бедой —
Как рукой снимаешь беспокойство,
Ободряешь, как живой водой...
Где мужик порой не знает броду,
Там, сильна и на слово остра,
Женщина готова с ходу — в воду,
Словно милосердная сестра.

1980

* * *

Нет, никогда, вовек не надоест
Встречать восход веселый ежедневный,
Когда он слит со всем, что есть окрест,—
С рекою, с полем, с ясностью душевной.
...Вновь память там, где гибель по пятам
Шла за тобой, гремя, свистя смертельно.
В те дни не до природы было нам,
В те дни она жила от нас отдельно.

1980

* * *

Безбрежно, вольно на небе высоком,
Как на полях, что зелено-тихи...
Не красной пастой — земляничным соком
Природа пишет летние стихи.
Строку к строке — ромашку к стеблю лепит,
К оконцу солнцем, словно рифмой, льнет.
И трепет колосков, и речки лепет —
Все в мед душистый — в лирику берет!

1981

* * *

Новый стих — как ясное окно
После ночи радостно-бессонной.
Если б в суете редакционной
Не ложилось что-то под сукно!
Не таю обиду или зло,
Но скажу своим единоверцам:
Сколько строчек, выстраданных сердцем,
До тебя, читатель, не дошло!

1981





ГОСТИ

МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ

Максим Никитич, проснувшись, вспомнил, что у него свободное воскресенье. Проворно поднялся — и скорее к окну: что за погода? За окном — белым-бело. За окном — нетоптанный, ожидающий снег. И морозец — на градуснике-то двенадцать! — и чистое небо.

— Ох, денек будет! — проговорил жене. — Собери-ка поесть, Леля. Поеду в лес, пробежусь по свежачку.

В прошлом году — да, примерно в такое же время — он схватил три кадра. Прямо завидных, высшего класса! В них, в трех, вместились лесная повесть. Могучая сосна... Мыши обнаружили три дупла, замурованных воском. Вскрыли: пчелиный склад! И лакомились медом. Внизу же, под сосной, в кустарничке, воришек поджидали колонки. Хватали и тоже лакомились.

Снимки обошли весь Союз, перешагнули границу. Нет-нет да и обнаруживал Максим Никитич в почтовом ящике то журналы, то газеты на польском, чешском или другом языке. И видел там своих милых, коварно-невинных зверюшек.

— Мака, с утра мы прогуляемся до рынка: у меня кончились продукты. Мать тоже просила купить картофеля, — отозвалась Ольга Осиповна.

Максим Никитич глянул на нее осуждающе:

— Лё-оля! Да за продуктами и вечером сходим.

— Вечером, Мака, мы пойдем в театр. Ты сам — запомни: сам, Мака, сам! — будешь играть этого... неудобоваримого оператора. Тебя же, дурачок, обманывают. Вытесняют со сцены! Видит бог, я не хотела тебя расстраивать. Да разве сдержишься?

Она села в постели и закурила.

— Скажи: чего ради ты должен уступать то, что принадлежит тебе? — спросила, выдыхая дым и небрежно поправляя левой, свободной рукой длинные черные волосы. Казалось, она запуталась в этих волосах, как в зарослях. — А мальчишка... чтоб за наш порог не ступал больше. Надо же, дневал и ночевал у нас, ты с ним возился, как с родным сыном, — и такая подлость, мягко говоря, подножку подставил...

— Да нет же, Леля!

— Я все знаю. Все! А ты — ничего.

— Как ничего? Вчера после репетиции Ваня Соловейчик подошел и спросил: «Никитич, девушка моя с родителями придет на спектакль. Уступи мне воскресенье. Реж дал «добро». Я ответил: «Смотрины, что ли, Ваня? Уступаю. Но... не подкачай. Не подкачай, Ваня!»

Верхняя губа жены, с черным пушком, очень эмоциональная, нетерпеливо подерги-

валась, ожидая своего часа: вот я скажу, по-
дожди! я-то все знаю...

— Так послушай теперь меня. Послушай,— в конце его речи, все-таки не сдержавшись, приговаривала Ольга Осиповна. И когда Максим Никитич замолчал, сказала, не скрывая довольства своей осведомленностью:— А никакой девушки, никаких родных нет! Приезжает из области начальство. Пожалует в театр. Денежные-то дела наши не ахти какие. И главреж переживает за спектакль. Тебя убирают, а Ванечка — восторженный, юный, обаятельный лицемер, лгун! — станет играть твою роль. Научил... Поднял его на ноги, а теперь можно и пнуть учителя.

Она по-мужски, щелчком, отшвырнула папиросу, выразив этим верх своего негодования. Глаза — большие, круглые, красивые глаза — сверкнули черным огнем: ты еще стоишь здесь? ты не мчишься к главрежу? не сведешь с ним счеты? тоже ведь другом считается! Тряпка ты, Мака...

Максим Никитич глядел на жену растерянно: просто не ожидал такого наплыва. До жены, костюмерши театра, и впрямь — он в том не единожды убеждался — скрытое, подводное доходит быстрее, чем до кого-либо. И все-таки верил и не верил ее словам. Мучительно вспоминал вчерашнее: смущенный Ваня упрямшеет уступить воскresный спектакль. С душевной взволнованностью... Но что же, оказывается, было просто смущение молодого человека, еще совестливого, но начинающего обманывать своего... уважаемого (этого-то нельзя же отрицать!), стареющего учителя. И, черт побери, верящего ему!

Напряженный взгляд жены ждал решения. Максим Никитич, ничего не решая, ничего не придумывая, сел рядом с женой и сказал:

— Дай-ка я погрею твои руки.

Он занимался этим каждое утро. За ночь у жены падала отчего-то температура. Просыпаясь, Ольга Осиповна говорила всегда с отчаянием: «Ой, Мака, я заколела совсем!» И сейчас он взял ее руки-ледышки, бережно, уже привычно спрятал среди своих ладоней, поднес к губам, намереваясь подышать, но жена вырвала их:

— Мака, не паясничай!

Тогда он, как-то сразу посуровев, проговорил оглушающе веско:

— Ты хочешь, чтобы я остановил жизнь? Я не сделаю этого, даже ради тебя, потому что не бог.

Она притихла. Она понемногу отравляла его с того самого дня, как разделили любовь в каком-то уже давно забытом ателье мод на старых тряпках, принятых для реставрации. Сейчас, отчитав мужа, она даже испугалась: не перешагнула ли ту грань, за которой женщина теряет мужчину?

А Максим Никитич, помолчав, добавил не менее веско:

— А за мою судьбу не волнуйся: и стареющего артиста со сцены не выдворяют. Если, конечно, он не законченный болван. Или пьяница.

«Вот, перехлестнула! — подумала Ольга Осиповна. — Уже и отгородился...» И сказала примиряюще:

— Ой, Мака! А в тебе есть что-то от философа.

— Дурная ты баба! — помягчал он. — И все-таки дай я погрею твои руки. И скверные губы...

На рынке они хорошо нагрузились. Но все-таки пренебрегли городским транспортом — отправились пешком. В таких случаях Максим Никитич всегда шутил: «Надо оправдывать свою фамилию: мы — Пешие».

Под ногами похрустывал снег. Деревья, все прибранные, ажурные, замерли, словно пораженные своей красотой. Из-за крыш, из-за частокота телеантенн проридилось игольчатое, студеное солнце.

«В лесу-то теперь как хорошо! Этот Ваня, этот Ваня...» Жена мешала Максиму Никитичу сосредоточиться. Модница, сама искусница, Ольга Осиповна на прогулках обычно приглядывалась к одежде прохожих. Учиняла своего рода жестокою инспекторскую проверку. Доставалось всем на орехи!

— Ну, посмотри ж ты, — искренне, возвышенно негодовала она, — разве это пальто? Такая молодая особа и закуталась... в рояльное покрывало.

— Да не выступай ты на улице! — смущаясь тех же прохожих, отзывался Максим Никитич.

— О, а это что за безобразие плывет? — не реагируя на его замечания, провозглашала она.

— Лё-ля! — теряя терпение, возмущался Максим Никитич. — Ты невыносима. Если не прекратишь, я оставляю тебе кошель — и уйду один.

— Разве хороший человек наденет такую тряпку?

— Хороший человек и мешок наденет, потому что он не о нарядах думает.

— Мака, ты сам невыносимый. По-твоему, да не морщись, нарядная одежда шьется для дураков и глупых людей?

Чтобы не рассориться из-за пустяков (случалось ведь такое уже! случилось!), остаток пути они проехали на трамвае. Но и здесь, увидев перед собой чересчур полную женщину, поширяла мужа локтем: погляди ж на эту Мотрю! такую — вот такую! — никаким нарядом не украсишь.

Он, осуждающе покачав головой, усмехнулся: ты неисправима! И шепнул на ухо: «Дома я тебя поставлю в угол».

К матери Максим Никитич зайти не решился: две женщины — вздорная да охающая, со слезами молящая бога о смерти — две такие женщины для одного утра было бы уж слишком. Он вызвался подождать жену у подъезда.

Когда Ольга Осиповна поднялась на крыльцо, он как-то странно вздохнул, проговорив: — Ой, Лёля, подожди. Вернись.

Она обернулась: муж стоял, держась за деревце. Лицо у мужа всегда бледное. Словно для него летом и солнца на небе не было. А сейчас, показалось, лицо и совсем белое. Сердце? — испугалась Ольга Осиповна. Бросила сетку с картошкой и заспешила к Максиму Никитичу, в мыслях кляня себя за несдержанность.

Скорее взглядом, чем словом, она спросила: «Что, Мака? Тебе плохо?» А он улыбнулся приятно и говорит: «Нет же. Ты с че-

го взяла?» Да тряхнул то самое деревце, за которое держался. И с головы до пят обдал куржой. Не пожалел ее замшу, расшитую шелками. «Мака! — воскликнула она. — Ой, а я-то подумала... А я подумала!.. Ну, надо же так, а?» Она пыталась ухватиться за него, но споткнулась. Наверно, тут, под деревцем, и повалилась бы, но Максим Никитич поддерживал вовремя. Хлопнул раз, другой и победленную-то толкнул вперед: теперь иди.

Сердце ее еще билось от испуга. Ноги были как ватные. Но поднявшись на крыльцо, она оправилась. Подбирая раскатившиеся картофелины, говорила:

— Нет, нет! Не одной мне стоять сегодня навывтяжку. Я и тебя, старого шалуна, поставлю в угол.

— Так, может, нам заказать плотнику стойло? С двумя кольцами для привязи, с яслями для корма?

— Я тебя за другое колечко привяжу. Мака. Я тебя крепко привяжу. И ясли, Мака, ни к чему: тебя, пожалуй, выморить стоило, а я на рынок пошла...

Оставшись один, Максим Никитич, довольный, сверкающий улыбкой, — хорошее все-таки сегодня утро! — упал на скамью, как в карету, готовый свистеть, кричать, мчаться. Но скамья-каjeta не двинулась с места. И ладно! Максим Никитич вытянул ноги, глядя на то самое деревце, на котором порушил хрустальную красоту. Это было деревце его матери. Она любила черемуху. И, сколько он помнил, весной у них всегда на столе стоял роскошный букет. В старости, уже не имея возможности ходить в лес, она нашла где-то корешок черемухи и посадила перед домом: расти да цвети мне и всем на радость. Весной ее обламывали безжалостно. Круглый год отаптывали. Костлявая, ошипанная людьми и непогодой, она не только видом, но походила на свою хозяйку и своей цепкостью, стойкостью. «Жить, жить! — говорила каждая веточка черемухи. — Жить и радоваться».

Максим Никитич глядел на нее с доброй, приветливой улыбкой: да, именно жить, и жить полнокровно. И дарить всем радость,

как сказала когда-то старая мать. Так неожиданно черемуха вернула его к мысли о театре, своей новой роли в новом спектакле.

Больше десятилетия лет он играл в современных пьесах рабочих. Больше передовых, больше задиристых, беспокойных, совестливых. По-своему, ярко мог передать и вспышку гнева, и минутную растерянность, и угловатость, и взволнованную речь на собрании (без собраний пьесы редко обходились), и саму манеру трудиться. Но одни и те же детали начали зрителю приедаться. «Пеший повторяется... Однообразен», — все чаще стал он слышать такие реплики. А с ролью рабочего-оператора и вообще дело не клеится. Как ни старается, а режиссер все недоволен: «Максим Никитич, да пойми ты, наконец, что играешь не мудрого профессора...»

Тогда позволительно спросить: что же такое интеллектуальный рабочий, если не профессор на своем месте? И возмутись, когда тебе начинают высказывать замечания с раздражением. Вроде ты — чурка. Но режиссер гнет свое: «Что такое интеллектуальный рабочий? Очень существенная черта современности, Максим Никитич, которую ты нам должен открыть со сцены».

А эта современность капризничала, не пускала в свои тайники. Даже была жестоко, обесценивая весь его накопленный арсенал деталей. Какой же выход? — в тысячный раз спрашивал он себя. — Поглядеть на других? На кого? Коллеги из областного театра дали понять: взялись, братцы, за непосильную ношу.

Сдается, и сам режиссер не понимает этой новой грани современности. Ваня, дублер, свеж для зрителя — в том его козырь и его преимущество. А ему одно светится: меняй, Максим Никитич, театр! Тогда, в новом-то городе — и ты будешь нов для зрителей. А чтобы не компрометировать себя, помни, дорогой товарищ, о горьком опыте. Не ступай больше на непроторенную дорожку.

— Отступать, значит? — спросил он вслух. И поглядел на двери: Лёля-то, однако, задерживается. — Но отступление — не выход. Хотя бы потому, что не решает проблему.

Да, уведа в сторону, отступление делает

проблему вечной. Ведь и там, в новом городе, со временем появится та же хворь. И снова сниматься с места? И снова менять театр? Становиться цыганом? Кочевать, кочевать и кочевать! Благо, как поется в песне, широка страна моя родная...

Он встал, прошелся возле дома: «А свету-то, свету, боже мой! Только снимать бы... И теплеет. Как жаль, что сорвалась прогулка!» С крыши, обламываясь, падали снежные козырьки. Шлеп! Шлеп! — раздавалось тут и там. Играя, пробегался ветер: податлив снег, легко берется!

— Ан нет, — сказал Максим Никитич, — не привык я отступать. Не найду выход — сам на время стану интеллектуальным рабочим, приметой времени.

И тотчас же подумалось: «Так оно и будет. Что ты еще можешь предпринять? На завод ходил, на живых операторов глядел, расспрашивал о них — только все напрасно: не раскрываются они, как и их время. Вроде безликие, вроде ничем они и не отличаются от тех рабочих, образ которых считается отошедшим в прошлое. Да так ли все это?»

— Ох сомневаюсь!

— Мака! Ты бел и пушист, как снег. Ты у меня — тоже утро, — заговорила Ольга Осиповна, показавшись на крыльце. — Отчитайся, Мака: на тебя глядели женщины?

Она взглядом окинула его модную теплую фуражку из искусственного меха, доху из кролика. Доху она заказала шить по своим рисункам. И замучила скорняка: долго не гляделась доха. Оторочили ее серым кожаным заменителем. Обшлага, борта, пояс тоже сделали из кожаного заменителя — и просто чудесная доха получилась. Очень элегантно выглядит ее муж. Артист — ведущий артист театра! — и должен так выглядеть.

Максим Никитич не понял ее слов, ее чувств. И возразил:

— Нет, Леля. Я — вечер. Я — поздний вечер. Не пойму только: холодный или теплый. Скорее всего, осенний. Листья еще не опала, держится, но...

— Мака, ты — не женщина, не плачь. Мужчина бывает красив в жизни дважды: в юные годы и в зрелом возрасте. Мудрость,

благородство — это лепестки твоего лица. Ты их не замечаешь?

— Ты сегодня все утро выступаешь, Леля. Спустишься с трибуны, а то и впрямь... на меня начнут заглядываться. И обрывать лепестки...

— Зачем спускаться? Поднимайся ты: нас приглашают. У матери гости. Приехал твой любимый племянник. Для деревенского парня — даже неплохо одет. А она, жена его... Прости, умолкаю. Но когда пригласим к себе, я эти ее занавески — юбку, кофту — перешью. Спицы на беременную. Убью ночь, а перешью. Молодой женщине — да учительнице! — не к лицу одеваться так безвкусно.

— Так что из племянников, Виталик, что ли, приехал?

— Виталик. Тот самый Виталик, о котором вы, Пешие, говорите: похож на погибшего Сеню. А сами и Семена забыли — столько лет прошло, — и Виталика не видели.

— Теперь увидим, — проговорил Максим Никитич. — Но кошель-то, наверно, домой отнесем. И оденемся. А то ведь, чего доброго, тоже осудят: видок-то затрапезный!

Дорогой он вспоминал: когда же видел в последний раз племянника?

— Ох, дай бог памяти! Да больше пятнадцати улетело. Нет, около двадцати. Он тогда еще и в школу не ходил. Помню, босой, с голичком гонялся за цыплятами. А я — верно! верно! — и сам тогда не разбирался: похож он на моего погибшего братца или не похож? Но у сестры только и разговору было: ах, мой Виталик — копия Сени. Сения и Сения.

— Мне он показался невзрачным. Прости, пожалуйста. А Сема-то на фотографиях у тебя — вон какой гвардеец? Улыбка... И сердце, не моргнув, отдала б за такую улыбку.

— Посмотрим, посмотрим! — с волнением проговорил Максим Никитич. — Сения-то погиб в двадцать, а Виталику сегодня около тридцати. Десять лет — большая разница.

Максим Никитич давно заметил за собой слабость: в минуты волнения делает совсем не то, что надо. Причем машинально. И сей-

час, придя домой, вместо того чтобы собираться, занялся кормушкой для птиц.

— Мака! — всплеснула руками жена, увидев его с молотком в руках и с гвоздями во рту: приготовился колотить уже! — Нас ведь ждут гости. Ты забыл?

Он ушел в комнату. Постоял, словно вспоминая, что же ему здесь надо, и открыл книжный шкаф. Порывшись, достал толстый потрепанный альбом — единственное, что сохранилось от Сени: брат полностью овладел его сердцем.

В альбоме — между коркой и первым листом — хранилась уйма газетных вырезок: разведчики, снайперы, тяжелые орудия, разрушенные города, летчики, герои всех родов войск. Борьбой с врагом, подвигом жил тогда каждый. Жил этим и Сения. Потом шли фотографии: мальчик, выпятив грудь (сколько же в глазах торжества!), печатает шаг, в руках — спортивный флаг; футболист с мячом, мчится, устремив взгляд к воротам: гол верный! Куда пробить? Госпиталь, среди раненых — молодежная делегация. Юноша поднял гитару, спрашивая: кто может играть? дарю! И вот Семен — курсант воздушно-десантной школы. Шея настолько тонка, что в ворот гимнастерки войдет, кажется, еще одна такая. Но глаза смотрят смело, уголки губ собраны в упрямые складки.

Альбом завершала одна из лучших фотографий брата: он сидел на берегу реки. У ног — автомат, каска, противогаз. Лицо задумчиво. И взгляд, и мысли плутали где-то далеко от него. словно окончилась война, вернулся он на родную реку, где начиналось, но было прервано детство. Тоненькая березка замерла за спиной, точно девушка, не решаясь его окликнуть.

В альбоме хранилось и несколько писем. Одно военное, в котором сообщалось, что младший сержант Пеший Семен Никитич пропал без вести. Другие письма, уже недавние, прислали комсомольцы Черкасского профтехучилища.

«Каждую весну, — писали они в одном, — мы уходим в походы по местам боев. Отыскали много могил. Одна из них — вашего брата. Он погиб 24 сентября 1943 года. У нас

создан музей боевой славы. Напишите нам о своем брате».

Максим Никитич отозвался тогда. И скоро получил ответ: «Спасибо за теплое письмо и фотографию. Семена Никитича узнала связанная партизанского отряда, которым командовал Палёха. Вы, наверно, удивляетесь: как брат попал в партизаны?»

Наши войска готовились к форсированию Днепра. На правом берегу, возле Черкасс, Гитлер сосредоточил свою танковую дивизию «Мертвая голова». Эсэсовцы уничтожили тут почти все населенные пункты. В районе черкасских лесов наше командование выбросило воздушный десант. Около 600 человек. Но ветром отнесло наших парашютистов на вражеские позиции. Большинство воинов погибло еще в воздухе. Те же, кто спустился на землю, сражались до последнего патрона, а затем подрывали себя и немцев гранатами. Но были и такие, кому удалось уйти в лес. Среди них находился и ваш брат.

В ночь на 20 сентября он с товарищами по оружию получил задание выбить противника из поселка Коханка, спасти тысячи кубометров леса, который фашисты готовились увезти в Германию. Захватчики предполагали, что партизаны попытаются помешать им. Скрытно подтянули орудия и танки.

Наших ребят было всего 22. Бой, сами можете представить, оказался неравным. Герои гибли один за другим. Остатки отряда отошли в лес. Но фашисты начали прочесывать все окрестности. Вываться из их клещей никому не удалось.

Вашего брата и шестерых парашютистов партизаны похоронили на опушке леса. А год назад останки воинов перенесли в село. Здесь воздвигли монумент славы».

«Хорошо, что природа повторяет образ людей. Вот сейчас я и попадаю с тобой, Сеня». Максим Никитич бережно закрыл альбом. Улыбнувшись ребячьей надписи: «Я начинаю жить!» — положил его на журнальный столик.

А у матери уже было шумно: собралась родня — тетки, сестры, родные и двоюродные, звенящая мелочь — их дети. И стол на-

крыт. За ним пили и ели, шумно разговаривали, как это всегда бывает, когда приезжает редкий, желанный гость. Максиму Никитичу кто-то сунул руку: «Здорово, артист!» Он пожал, отчитав: «Что тянешься вперед гостя?» Глаза его, взволнованные, ищущие, нетерпеливо вопрошают: ну где же ты, Сеня? И тут навстречу встал молодой человек — невысокий, конопатый, с глубоко спрятанными глазами:

— Здравствуй, дядя.

Руку Максим Никитич пожал не сразу: вроде бы его внезапно опажнуло холодом. Он, разгоряченный, обмер и долго приходил в себя. А когда пожал, ничего лучшего не нашел, как упрекнуть племянника:

— Что же не к празднику? Три дня гуляли нынче.

За него ответила жена. Судя по взгляду и манере держаться, бойкая женщина:

— А мы к празднику и приехали, но гостили у моих родных.

— Вот как?! — вырвалось с обидой у Максима Никитича. Он поглядел на племянника, хотел было спросить: как же выдержал-то? Быть рядом и не сообщить о себе?! — но не спросил. Шел сюда, в душе вроде колокольчики звенели. А сейчас их словно оборвали грубо. И он, нахмурясь, переживал боль.

Ольга Осиповна, раньше познакомившись, в этом разговоре не принимала участия: ее голос звучал уже на кухне. Кого-то, кажется, распекала за нелепый передник. Максим Никитич сел рядом с матерью: «Ну-ка потеснись, мамуля!» — и пожал ее старую безучастную руку. Мать, прикрыв уголкем платка губы, с печалью глядела на взрослого внука, на Виталика. Подвинулась, в глазах вспыхнул интерес: вот, теперь есть с кем и словом обмолвиться! И, улучив момент, шепнула: «Ну что, ведь не Сенечка?» Максим Никитич мотнул головой, соглашаясь: кажется, нет. И мать проговорила с тяжелым вздохом, упрекая старшую дочь:

— А говорила! А писала... свистелка!

Но все-таки, приглядевшись лучше, Максим Никитич нашел в госте и много сходства. Резко очерченный подбородок, упрямые складки губ — этого не спрячешь, это черты

Семена. А лоб, надбровья, глаза... и такие, и не такие. Чего-то им не доставало, совсем немного, но чего — Максим Никитич никак не мог понять.

За столом весело обсуждали младшего брата Виталика, который побывал в гостях нынешней весной. Много на шумел, много наобещал: «Бабушка, у нас, на Севере, дичи, ягод, рыбы — навалом! Вилами ловим. А морошки, клюквы — осенью я накислю вам. Лекарственные ягоды!» Но уехал — и как пропал. Единственная открыточка — поздравляю, баба, с праздником! — и та пришла через адресное бюро. Посылал внук к Первомаю, а вручили 7 ноября.

— Он у нас лихой, — говорил Виталик. И голос его — при таком-то оживлении застолья — был удивительно ровным. Неужели он и в гневе говорит так же? — думал Максим Никитич. — Это ведь страшно: обладатели такого голоса, как правило, жестоки. И пустяковину не простят ближним.

— К вам-то когда поехал, у него права отняли. Управляющий нашим отделением совхоза выручил: большие связи, сами понимаете. А месяц назад опять ЧП: перевернулся. Хорошо, у машины над кабиной козырек, спас ему жизнь, а то бы... Вот, ищет все что-то. В небо улететь хочется, да крыльев нет.

— Мне он понравился, — заступился не зная зачем Максим Никитич. Виталик чем-то уже раздражал его. Уж не тем ли, что не похож на Сенью? Живой, смелый парень.

— Этого не отнимешь, — вежливо переждав, ответил гость. — Но как работник — дрянцо. Взял я его к себе на трактор — опять ведь права отняли, и управляющий отказался улаживать дело. А мне новенький «Кировец» дали — сила! И боялся я — ухряпает трактор. Пахали под озимь. Проснусь ночью и верчусь: как он там? Рвет, наверно, на всю железку? Отец скотником работает. За ним лошадь закреплена. У нас и живет, как своя. Седлаю ее — и в поле. Так на коне догнать не могу — вот как пашет! Кажется, вся земля в воздухе. Ору: стой! Стой, паразит! А он: буду я по-черепашьи ползать! — И Виталик вздохнул: — Ушел, не выдержал такого контроля.

— Да выгнал же! — выдала мужа захмелевшая жена. — И они теперь не здороваются, не разговаривают. Чудаки... Из-за совхозного трактора! Мне, женщине, просто обидно: он этот свой «Кировец» только не целует.

— Трактор — кормилец. Что ты хочешь? На ходу он — я с деньгами, я и с хлебом. За пахоту нам платят и деньгами, и зерном. Десять центнеров получил нынче! Это плохо, что ли? В ночь, полночь будят: «Виталик, поезжай на станцию, груз срочный поступил». Еду. Рейс — лишняя десятка. Зимой в лес посылают. Три тесины захватишь — и прет мой «Кировец» прямо по бездорожью. Колея позади снежная — в рост человека.

— К нему там каждый идет: то дрова, то сено привезти — безотказный. Я его почти и не вижу дома. И флажки-вымпелы, и премии не радуют. Разве это жизнь? Я — как вдова. В прошлом году семейную путевку на курорт дали. Силой утащила: дурак, говорю, море не видели, бархатный сезон сейчас, люди за такие путевки денег не жалеют, а тебе бесплатную дали, так что думаете? Отдохнул, думаете? Загорел? Через неделю сбежал. Увез меня в Пермь. Остаток отпуска дежурили на толкучке: пила «Дружба» ему понадобилась.

— А что? А что? — смутился Виталик, никак не ожидавший от жены такого подвоха. — В хозяйстве без такой пилы — бесподручно. Цена ее — 170, а я взял втридорога. Но ничуть не жалею: она себя оправдала.

Максим Никитич уже сердился: «Вот, еще один деляга! Неужели этим делячеством поражено все молодое поколение?! Рупь, рупь, рупь! Будто и свет только для того и существует, чтоб разглядеть рупь. Делягу, пожалуй, я хорошо бы сыграл. А вот интеллектуального рабочего... Да нужно ли такое выпячивание? А почему бы и нет? Интеллектуальность — это же состояние души... сострадательное человеколюбие. А тут вон какие ангелы! Без червонца не подступайся.

Ни песни, ни смех его не радовали.

— Ну, молодые, хорошие, — когда разговоры стали глухнуть, а мамы с тревогой поглядывать на часы, проговорила Ольга Оси-

повна, — ночевать к нам, к нам! Еще посидим. Гостить так гостить! Милости прошу.

Виталик растерянно поглядел на жену. Она же, хотя вначале и показалась смелой, на этот раз что-то замялась. Ольга Осиповна, примитив, спросила:

— Что, друзья, переглядываетесь?

— Да завтра уезжать собрались, — признался Виталик. — Хозяйство же, а сена — ни клочка.

— Так и поверили! Не говорите, пожалуйста, глупостей, — Ольга Осиповна в житейских делах разбиралась неплохо. И отчитала сходу. — У сына трактор, у отца конь в руках — и сена ни клочка? Да у тебя, как у кулака, пожалуй, и на три сезона запасено кормов.

Гости засмеялись: в точку попала! Но собирались неохотно, как подневольные. Максим Никитич это видел и совсем расстроился. Зачем же тогда показывались? — спрашивал он. — Тридцать дней прожили рядом и... «Обида» — не то слово, которое могло передать его состояние. Обида взвинчивает человека. Или забивается глубоко в сердце, тревожа его. А на Максима Никитича давила и давила какая-то тяжесть. Собственная голова, что ли, окаменела?

Дорогой гости больше молчали. Ольга Осиповна, верная себе, встречая прохожих, с оживлением — у нее же сегодня столько слушателей! — обсуждала их одежду. Входили в квартиру гости с робостью. Ира, жена Виталика, проговорила мужу вполголоса: «А как мы тут, деревенщина, впишемся?!» Виталик — и что его до тридцати-то лет зовут, как мальчика? — пожал ее локоть: ничего, мол, двери всегда найдем.

Максим Никитич, слышавший и видевший это, наблюдал теперь за гостями с интересом натуралиста: что за божьи создания перед ним? Но обходился любезно. В комнату, где хранились книги, пригласил с тайной мыслью: а и посмотрим, как впишется...

Ира сразу села, уставившись на серый, вытершийся палас. Виталик же, став посреди комнаты, огляделся с недоумением. Опробовал стулья — расшатаны, не стулья — дрова. Маленький телевизор — еще первого вы-

пуска — кажется, сжался, став совсем крошечным от его презрительного взгляда. На книги, которые уже беспокойно жались друг к дружке на полках, он глядел, как на солому, ничего для него не значащую. Не корм, ничто. Так... подстилка для коровы в стужу.

— Ты, оказывается, бедней всех наших живешь! — обратил он искренне огорченный взгляд на Максима Никитича. — А мне мать уши прожужжала: вот дядя Максим! вот дядя Максим! Бери с него пример! Артист! Ты ж техникум закончил, а с трактором боишься расстаться...

Максим Никитич побелел как снег. Низложили, повергли ниц! И все на рубль свел. Образованный молодой человек... Так, выходит, перед ним и есть тот тип — интеллектуальный рабочий человек. Пусть не заводской, пусть из совхоза.

— А дядя-то сидит на старом стуле, смотрит старый, с малым экраном телевизор, — заговорил Максим Никитич, стараясь изо всех сил сдержать гнев. — И зачем выступать, если... ни черта приобрести на зарплату не можешь?

— Разве не верно? — с детской непосредственностью удивился Виталик. — Давно же сказано: соловья баснями не кормят.

Ольга Осиповна, появляясь в комнате с белой скатертью, рассмеялась: «Вот и весь сказ, дорогой Мака! Мудрый, современный: соловья баснями не кормят!»

Она же и разрядила обстановку, не дав разгореться спору:

— Мака, ты помоги мне на кухне. А вы, гости, включайте телевизор, крутите пластинки, смотрите книги. Мы вас угостим сегодня лучшим армянским коньяком.

— Леля, а коньячок-то приберечь бы стоило. До лучших времен, — проговорил Максим Никитич, надевая передник. Музыка, внезапно взорвавшаяся, как гром, оглушила его. Лишь по движению губ он разобрал, что ответила жена: «Не жадничай!» И, одолевая болезненное чувство тяжести, принялся нарезать сыр: действуй, беднячок, действуй...

Вдруг из комнаты, прорезавшись сквозь музыку, донесся смех — звонкий, довольный смех племянника. Максим Никитич посмотрел на жену многозначительно.

— Что удивительного? — отозвалась Ольга Осиповна. — Пора освоиться. Нашли, наверно, какую-нибудь злую книжку.

— Я отнесу сыр и гляну, — смех, такой убагаторенный, обрадовал Максима Никитича. И он заспешил в гостиную, держа в обеих руках по тарелочке с сыром.

Ира, жена Виталика, сидела перед шахматной доской. Гости, оказывается, играли. В шашки. Сконфуженные короли, королевые, офицеры и кони выполняли роль пешек. Телевизор орал вовсю, радиолы орала вовсю, а они на них — ноль внимания. Виталик ходил подле дивана, потирая руки.

— Погляди, дядя Максим, я ей сразу пять «сортитов» поставил. Посмотри: она опомниться не может. Пять «сортитов»!

Максим Никитич, услышав, чуть тарелочки не выронил: вот оно что тут! Сортиты! Но проговорил с деланой бодростью:

— Лихо ты расправляешься!

— В селе она да директор школы и держится против меня. Но теперь доканал супругу. Пять «сортитов»! Доканал. Еще, приеду, до директора доберусь.

И смеялся. Так заразительно смеялся. А Максим Никитич, глянув на его лицо, чуть не вскрикнул: «Леля! Вот когда Виталик-то похож на Сеню. Иди ж сюда!» Но не крикнул: чем дальше глядел на племянника, тем разочарованнее становилось выражение. Виталику, значит, не хватало свету в глазах, улыбки. Но, боже мой, какой слабый свет, какая все-таки бедная улыбка!

Максим Никитич уже ничего не хотел. Он вернулся на кухню. Жена что-то спрашивала, он не отвечал, потому что совсем не понимал слов. Он сел у окна, уставясь в темь. Со стекла на него глядела незнакомая, трагически напряженная физиономия. Женщина — обеспокоенная, даже напуганная! — вертелась возле той отрешенной от мира физиономии. Но вот все же разомкнулись деревянные, с трещинками, уста и изрекли:

— Неужели ж и мой сын такой?

Взрыв смеха донесся до кухни. Скоро и сам Виталик забежал сюда, сообщая с радостью:

— Я ей еще четыре «сортита» поставил!

Деревянные уста вновь разомкнулись, словно обращаясь к самой черной вечности:

— Неужели и мой сын такой?!

Его сын, окончив институт, с дипломом инженера-прокатчика только начинал работать — еще и неизвестно кем — в далеком Череповце.

— А в театре спектакль окончился, — сказала Ольга Осиповна, помешивая жарившуюся картошку. Максим Никитич внимательно посмотрел на жену. Глаза ее были печальны. И он понял, почему. Оба они, не сознаваясь друг другу, даже себе, весь вечер тревожились об одном: о спектакле. И истинной причиной их недовольства, даже раздражения, были совсем не поступки, не характер Виталика, а все тот же спектакль.

— Окончился, — со вздохом согласился Максим Никитич. — Четверть часа назад окончился, — и он посмотрел в сторону двери с надеждой, вроде даже прислушиваясь: не идут к нему? Ольга Осиповна перехватила его взгляд и поняла его желание.

— Ты ждешь Ванечку? — спросила она. — Напрасно, Мама. Теперь он вознесется — выше жаворонка.

— Придет, — уверенно произнес Максим Никитич. Учитель по образованию, даже пробыл четверть века на сцене, он все еще считал себя педагогом. И часто рассказывал, как в далеком 1945 году его, офицера политотдела, отвечавшего за комсомол, вызвал комдив и сказал: «Вот что, Пеший. Пушки скоро умолкнут. Винтовки поставим в козла. А нам тут с людьми новые отношения строить. Давай-ка организуй театр». Максим Никитич, прошедший за три боевых года огни и воды и медные трубы, растерялся не на шутку: «Товарищ генерал, я же в этом... ни бум-бум!» Но комдив остался непреклонным: «Исполняйте приказ, майор!»

С того дивизионного самостоятельного театра и началась новая жизнь, новая карьера

Максима Никитича. Примечательно было то, что в нем навсегда осталось чувство, что он на сцене — случайное лицо. И, как новичок, постоянно тревожился, что-то искал в книгах, присматривался к именитым коллегам, шел в кино или на спектакль приезжего театра, как на семинарское занятие. То ли это постоянное беспокойство, то ли обнаружившийся талант до сегодняшнего дня непременно приносили ему успех на сцене.

Над входной дверью мягко дзинькнул звонок. И Ольга Осиповна и Максим Никитич метнулись в прихожую.

— Ванечка! — взволнованно проговорила Ольга Осиповна. Пусть она оказалась неправ. Но он возвращал ей покой, семейное счастье. И она искренне радовалась Ванечке, которого утром еще костила почем зря.

Максим Никитич, отгеснив жену, протянул Ванечке руку, спрашивая:

— Как спектакль? Поздравить тебя, что ли? Ну и молодцы же, что надумали навесить.

Он был растроган и глядел то на своего дублера, то на его девушку, почему-то заревавшую. Девушка так крепко — даже с отчаяньем! — прижимала к груди гитару, словно Максим Никитич, молодой, степенный человек, собирался ее отнять.

— Это и есть, Никитич, моя девушка. Алена-Сердце Опалено. Да вы, Никитич, — горячася, смущаясь, говорил Ванечка, — вроде нездоровы. Лицо... нехорошее! Может, не стоит вас тревожить?

— Вот, сантименты начались! — с досадой проговорил хозяин. — Здоров я! Здоров! Проходите же, прошу, — голос его набирал ободряющую крепость. — И доложи-ка, молодой человек, почему девушка в слезах?

— Да ведь спектакль... не удался. Да мы ведь поругались вдрызг с ее папашей. У него смертельная реакция.

— Так папа все-таки был в театре?! А мне, признаюсь, донесли: никаких любимых и никаких родных любимой. По другой причине Соловейчик играет: приезжает областное начальство...

— Мне-то оно что, начальство? Приехало

оно... а мне диспуты... Сердце, Никитич, не принимает. Не пойму: что от нас хотят?

— Как? Хорошей, убедительной игры.

— Если бы! — с огорчением воскликнул Ваня. И замолчал, нервно переминаясь с ноги на ногу.

— Да где уж ему было о пьесе думать, — подала голос и девушка с гитарой, его Алена-Сердце Опалено. — Он после каждого слова глядел в зал (на нас! на меня, на папу, на маму!) и вроде б спрашивал: ну, как я? И на перемене (ой, в антракте!) за нами собачкой бегал и опять — уже прямо — спрашивал: «Ну, как я? А?» Папа же недовольный. Он рабочий, деловой человек. Машет ему снисходительно, с насмешкой, конечно: «Хорош, хорош. Бреши и дальше так».

— Только это сказал? Только это? А после спектакля что? — закинулся Ванечка. — Я вот сейчас — давай-ка разденемся, давай-ка пройдем! — расскажу Никитичу. Никитич нас рассудит.

Ольга Осиповна, краснощекая, с пылающими глазами, поманила мужа: «Мака, у нас же нет горчицы! Нет печенья, конфет... Ну ничего к чаю!» Он улыбнулся так, как уже давно не улыбался. С молодым озорством. И поцеловал в щеку и нашептал нежное: «Тебя хоть сейчас в цыганский ансамбль. Смотри, опять досрочно спалишь свой керосин, и мне придется тебя обогревать».

— Так что же все-таки возмутительного сказал деловой рабочий человек? — провожая гостей в комнату, спрашивал Максим Никитич.

— Да целый монолог произнес! — повернувшись лицом к хозяину, с готовностью отозвался Ванечка. И остановился. — Я вам до слова передам: «Ты меня, парень, не учи гайки крутить! Ишь, за моду взяли! Газета учит, радио, учит, телевизор учит и, знача, театр тоже. Я ж лучше вас, учителей, гайки-то кручу. И кнопки жму. Станками программными управляю, товарищ артист. Чтоб гайки, станки освоить — курсы есть, училища, наставники, мастера на производстве. От вас-то я иной, братцы, науки хочу: как мне, мужику,

с жизнью обходиться? Новая она, жизнь, непонятная. Нам, людям в годах, наука ваша наглядная, може, побольше нужна, чем молодым. Вот какого совета — и света! — жду. Да чтоб тот свет от человеческого сердца исходил. Прямо от горячего нутра. Чтоб и я тут, сидя на скамейке-то, погреть и свое сердце мог да примериться: так ли шагаю? не отстаю? не уклонился в сторону?»

— Молодец, папаша! Ой, молодец!

— Как?! И вы с ним согласны? Никитич... Вы же сами недовольны пьесой. И кто же, получается, мы? Попугай. По-русски, по-народному — попки! Нам напишут, нам насочиняют, а мы и дуемся. Свет ищем. Так если нет его в пьесе, где ж взять? У Шекспира занять, на ТЭЦ?

— Да-а, — протянул Максим Никитич, глядя на своего молодого дублера задумчиво. — Ты, артист, назвался и продолжаешь называть себя попкой?!

— Ой, как это папу возмутило! «Коль ты попка, — сказал, — так мне с тобой и говорить не о чем! Жаль, что отнял столько времени. А о дочери моей забудь: она очень ценный человек! Со смыслом, с душой. Не желаю, чтобы она с тобой, попкой, дружбу — а потом и семью — заводила».

— Надо же до такого додуматься! — с гневом проговорил Максим Никитич. — Артист — это... что солнце. Оно и без слов — греет, жжет, палит.

— Да пьеса-то...

— Ты голосовал за нее? От имени всей молодежи, а? Что же теперь поносишь? Сдаётся мне, не читал тогда?

— Не читал, — признался Ваня.

— Ну вот! Договорились, что дальше некуда.

— Теперь мне понятно, Никитич.

— Я с папой работаю в цехе, — боясь словно опоздать, торопливо заговорила девушка. — Мы как деталь точим? Литейщики отливают болванку. Я, токарь, ее обрабатываю. Папа, фрезеровщик, зубья вырезает. И готова шестеренка. Мастер принимает, контролер принимает. У вас же, извините, вроде бы все дело взвалено на литейщика. А где токари? А где фрезеровщики?

— Милая девушка! — улыбнулся Максим Никитич. И руки ей на плечи положил доверительно. — Кто-то ваши шестеренки получает готовыми. Так мы тоже получаем готовую продукцию. Но иногда, как теперь, прорывается болванка. Тогда приходится самим оттачивать, фрезеровать. И почему? Да в хитросовете встречаются... попугай, по-русски, по-народному попки: ратуют не зная за что.

— Ой, попадаю в родную стихию! — сказал Ваня. Ему хотелось оправдаться, и говорил он с повышенным возбуждением. — Справа телевизор, слева — радиола. В действии! Ухо туда, ухо сюда. Один глаз туда, другой — сюда. Где интересней? А книги — это для пап, мам. Это для дорогого Максима Никитича. Нам же телевизор покажет, что в них написано.

— О, друг-сородич! — оторвал голову от доски Виталик. — Я пытался прочесть «Сагу о Форсайтах». Такая тягомотина. Мотор тархтит занятней. А телевизор за несколько вечеров показал толково.

Ваня, не дослушав «друга-сородича», воскликнул:

— Ага, милая девушка! Как вас звать-то? Ира? Вижу, вы тоже, как и я, в затруднении: загнали в угол. Но мы провозгласим лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — объединимся и победим противника. Двигайте-ка, Ира, эту пешечку сюда. Да, на сруб! На сруб! Пусть кушает на здоровье противник. Теперь и эту отдайте. На десерт противнику. Да не жалейте. Вот так. Ну и... собирайте урожай. Противник теряет сразу половину солдат. Видите, а? И теперь мы забираем его в угол.

— Три «сортира» мне?!

— А что? Вы — могучий шашист Андрейко? Но ведь и он потерпел поражение. Кажется, от какого-то голландца.

— Это нечестно. Раз, раз! Нечестно! — Виталик в сердцах толкнул фигурки и выскочил в прихожую.

Ваня улыбнулся своей напарнице:

— Вот, победили человека. И обидели. Он всегда такой пламенный? — и, сев на место

Виталика, начал расставлять пешки, предлагая тем самым: ну, а теперь сыграем со мной.

Максим Никитич приметил, как на светленьком любопытном личике Алёны — ко всему-то она приглядывается! — мелькнуло удовольствие: Ванечка занялся с другой, оставил без внимания! — и поспешил исправить ошибку товарища:

— Позволь-ка уж мне побаловаться шашками. А вы... гитару-то принесли, так испытайте настрой, голоса. Как выпьем — петь начнем. Люблю петь под гитару.

— Итак, Ирочка, — начал он, когда Ваня уступил место, — вы не ответили на вопрос: горяч племянничек? Обидчив?

Максим Никитич понял: до этой минуты он примерялся к Виталику внешне, не трогая, или почти не трогая, мир чувств. А теперь вот начал вчитываться в душу, как в книгу. С интересом, с желанием. Между гостем и тем героем из пьесы, который ему никак не давался, было что-то общее. Максим Никитич надеялся: поняв одного, он поймет — дорисует, так как пьеса-то явно несовершенно! — другого.

— Виталия, знаете, привык быть первым, — не сразу начала Ира. Опасалась она, что ли, как бы не сказать о муже лишнего и тем самым не уронить его в глазах других. — Вот в шашки плохо играл. Посмеялись над ним раз да два. И задели самолюбие. Натаскивал он книжечку, ножами сидел. Читает да двигает пешку. Добился своего. И так во всем.

— Что значит «во всем»?

— Во всем и во всем, — рассмеялась Ира. — Это же так понятно, Максим Никитич. Когда ты лучше других знаешь технику — даже лучше самого механика! — тебя ценят. И ты... диктуешь условия.

— Кому, Ирочка?

— Да как кому? Будто не знаете. Вот пришел в совхоз новенький «Кировец». Знаете такой трактор? Для деревенских механизаторов это мечта. Кому-то хотели отдать его, а Виталик бах заявление на стол. И переиграли. Кому такого специалиста терять хочется?

Максим Никитич помолчал, словно прислушиваясь, как Ваня настраивал гитару. Его подруга, чтобы не мешал грохот, выключила магнитола и убавила звук телевизора. Она, освоившись, уже и напевала что-то вполголоса.

— Значит, уже отработано поведение? Линия такая, — вернулся к разговору Максим Никитич.

— Линия не линия, а диктует — и все.

— Ясно, — как-то очень четко проговорил Максим Никитич и обернулся: жена, стоя за спиной, таинственным голосом, таинственными взмахами руки звала его в прихожую: «Да погляди же. Это тебе судьба помогает». И он встал с недоумением: что же там такое происходит?

В прихожей звонил Виталик. Упоенно звонил. Никого не видел и ничего не слышал. Уселся на тумбочку, а телефон водрузил на колени. И накручивал диск. Уверенно, легко, почти не глядя на цифры, как фронтовой связист.

— Спасибо, Леля. Хорошая картина! Экая небрежность, а! От уверенности, от своей... значимости, что ли?

— Вам телефон, дядя Максим? — очнулся Виталик. — Нет? А я товарища разыскивал. Лося положил без лицензии, так его на два года сюда, на химию, унекли. Мать письмо, деньжата передает. Вручить бы надо. У вас есть улица Кирова? Завтра они, «химики», там валить тополя начнут, для благородных деревьев почву готовить.

— Давайте за стол. Прошу, прошу! Заждались? Бросайте все: телефоны, шашки, гитары. Мы-то ничего, а Ванечка с работы...

— Неудачной, Ольга Осиповна!

— Ну... из одних удач ни жизнь, ни работа не складываются. Монетки вон меняют на вокзалах — куда еще проще-то? А все одно ошибаются. Глядишь, и кинут лишний пятак.

Максим Никитич, когда все сели за стол, проговорил с теплой улыбкой:

— Мы вот и выпьем — самую первую-то! — за то, чтоб нам сопутствовали удачи.

Все-таки когда выпадает больше удач, чем неудач, жизнь идет куда интересней. Что, молодежь, или не так?

— За удачу, Никитич! Мне она теперь — во как нужна! — Ванечка даже ребром ладони провел по горлу. — Надо как-то входить в доверие к будущему тестю. Иначе...

— Выпьем! — Ольга Осиповна моргнула, успокаивая всех. И выпила первой. Максим Никитич с задумчивой улыбкой, открывавшей перемену его внутреннего состояния, поднял стопку на свет, порадовался янтарному блеску коньяка и с театральной торжественностью поднес к губам. И пил, полускрыв глаза, точно золотистый блеск ослепил его. Виталик же, утопив стопку в ладонях, поглядывал сверху в дырку, будто воробья держал: что за птаха? нетерпеливая...

— Я люблю компании. Славные что-то только, — растроганно, глядя на дядю, уже уплетавшего сыр, проговорил Виталик. — Но в деревне-то у нас — да и в городе не редкость, видал, слышал! — как гуляют? Нальют чайный стакан водки и понукают, и стоят над душой: пей! пей! — вздохнул, заключив с достоинством: — Нет, я с каждым пить не стану. Еще за углом да украдкой. Ирина не даст соврать.

И вдруг спросил с беспокойством:

— А вы что давеча-то смеялись? Когда я звонил...

Максим Никитич — поест он любил — пожевал аппетитно и ответил по-простецки:

— Да ты ж очень ловко орудовал. Очень ловко! А мы как живем? Одним театром. У нас все есть в пьесах: хлеб, соль, идеи, профессии, смерть. Но все это не настоящее, блеклое, если и хлеб, и соль, и идею не освещает истинное солнышко, то есть жизнь. А вы-то для нас и есть жизнь. Свежая струя. Мы глядим, дышим — и обогащаемся.

— А-а, — проговорил Виталик, успокаиваясь. Убрав одну руку, он словно разрешил тому пойманному воробью: ну, лети теперь отсюда! лети! И воробей впорхнул в широко открытый рот, как в клетку, которая тотчас же захлопнулась. Довольный голос прозвучал: — Вот так! Освободили тару.

Ваня с девушкой чокнулись, хрусталь ото-

звался нежно, напевно. Им понравилось. Они еще чокнулись. И еще, а потом, радуясь не то этому волшебному звону, не то какому-то внутреннему порыву, коснулись друг друга лбами и, засмутившись этому невольному движению, выпили поспешно, как воду.

Позже всех выпила Ирина. Лицо ее приняло строгое выражение, даже укоряющее, точно она хотела сказать: пить-то вредно, знаете же, я лишь из уважения к вам выпью.

Диктор — красивый, как манекен, — сообщил, что сейчас будет передаваться художественный фильм. И все застолье, как по команде, повернулось к экрану. Ванечка сидел с краю, поэтому быстро добавил звук, свет и, заняв свое место, проговорил с оживлением:

— А что, Никитич, не прошел ли век театра? Не дохлым ли делом мы занимаемся? Завлекаем, увлекаем зрителя, а он не идет. Он в тепле вот за столом сидит да на экран посматривает. Можем мы с этим экраном тягаться? Ведь если передача путевая — и город, и деревня, как веревками, привязаны к экрану.

— Зачем нам тягаться? — не принял ни настроя, ни тему для разговора Максим Никитич. — Живой человек — это живой человек. А тень — это, как ни украшай ее, все-таки тень. Театр никогда не умрет.

На экране обозначились величественные горы. Туман поднимался или облака плыли? Пролетал снег. Завывал, казалось, откуда-то сверху накатывался скорым поездом ветер. И чернело, чернело кругом. А человек — одинокий, уставший, жалкий — брел, карабкался на заснеженный перевал. Страх, холод обнимали его. Впечатлительный Ваня потер даже руки: фу! гусиная кожа образовалась.

— Разве я так сыграю на сцене? — с мрачной отрешенностью проговорил он, глядя на экран. Первая трудность, первый срыв, видимо, пробудили в нем чувство реальности: на что же он способен? — Тут нет условностей, по-русски, по-народному — липы. Все явное. Ветер так ветер. Горы так горы. А снег так снег. И этот наплывающий холод, ужас ночи, одиночества... Нет, пусть телевизор — игрушка для человека, но игрушка занятная. Ге-

ниальная! Не согласитесь ли вы, Никитич, что она, игрушка эта, взяла нас за горлышко? Мы задыхаемся. И все-таки умрем.

Максима Никитича всегда сердили насюки и похоронные мотивы неудачников, неоперившихся, но уже философствующих птенцов, рисующихся снобов. Он, боец, труженик театра, всегда был крут, даже груб. При этом не считался, молод ли, именит ли перед ним оракул. Каждый получал достойную отповедь. Но сейчас он промолчал: слишком много пережито сегодня, и, перед сном-то, ни к чему портить всем настроение.

Ванечка, не поняв его сдержанности, продолжал твердить с прежней беспощадностью: — Да что умрем? Уже умерли. Ведь нас искусственно поддерживают. Только и слышишь: дотация, дотация... Никитич, вам не приходило такое на ум: а не для самих ли себя мы, артисты, играем?

— Театр не умрет! — упрямо, веско проговорил Максим Никитич. — Всякое искусство дорого человеку. И ценится. Даже то, что в суматохе первых лет — нечаянно или по своему неразумению еще — притоптали, так теперь возрождаем: вязание кружев, резьба по дереву, чеканка... Секрет-то в чем? Всякое тонкое дело требует к себе мастерского — профессионального! — отношения. Преданности требует, душевности. Когда твой труд щедро наделен теплом сердца твоего — он и становится ценностью человечества, предметом искусства.

Максим Никитич, как гром, на время приглушил желание разговаривать. За столом, хотя все смотрели кино, держалась напряженная тишина. Нарушила ее Ольга Осиповна. Взяв бутылку и разливая коньяк, она произнесла:

— Какие-то мы сегодня взвинченные. С утра проблемы, проблемы... Вот давайте выпьем — и забудем о проблемах. Время их ставит, время само и разрешит. И чего ради нам горло рвать?

Однако мудрость хозяйки не успокоила молодых гостей:

— А Ваня, — подала голос девушка, — мне

кажется, все-таки прав. Не совсем, нет! Но прав. Недавно я шла с занятий из техникума. Часов девять было. Еще же рано, а на улице — ни человека. Ой, мне жутко стало! Что же это такое? — думаю. И гляжу — раз да два на часы: отстае, наверно? часов двенадцать, наверно? Увидела женщину и спрашиваю: сколько времени? А она: спешу, некогда... кино же по телевизору... девятая серия. Вот как он, телевизор, взял человека в плен. Я вот учусь, некогда глядеть, а мама, а папа... засыпают на кушетке!

— Подождите, — подал голос и Виталик, — придет пора, мы этот телевизор, как очки, станем на носу носить. И что мне ваш театр, если я московские смотрю? Считаю, каждую неделю. Я уже про животных знаю больше, чем наш зоотехник Павел Игнатьевич.

— Вы, может, обижаетесь, Никитич, — мягче, взволнованнее произнес Ванечка, — а меня высокие слова не убеждают. Говорят: полностью отдаться делу... Можно ли? Хочется и погулять, и посидеть вечером за столом (да и у телика!), а не могу, занят. Спектакли, спектакли! И зрителю — приходят-то завязанные театралы — не угодишь: света нет, тепла нет. Надо ли терзаться? Не лучше ли пойти к станку точить шестеренки?

Он с растерянностью огляделся, ища совета. Алена, его подруга, радостно захолопала: вот, правильно! давно пора! Максим Никитич, полюбивший ее за хорошие слова о литейщиках, токарях и фрезеровщиках, теперь разочарованно вздохнул: тоже недозрелая! тоже бродит азарт!

— А что тебе делать — сам реши, — проговорил Максим Никитич. — Вольному — воля. Если нет веры в себя, в театр, то, конечно, уходить надо немедленно. А если хочешь потрафить будущему тестю, болячки театра периферийного высматриваешь, чтоб оправдать бегство, то... личной бедой это обернется для тебя, Ваня, — сказал Максим Никитич взволнованно. И встал, вышел из-за стола: — Смотри, Ваня. Не торопись.

Ночью Максиму Никитичу не спалось. Он давно бросил, а тут достал залежавшиеся сигары — чей-то давнишний подарок — и курил, и кашлял: крепость-то какая, крепость!..

А ведь надо и самому принять решение... Но в мысли лезли какие-то глупости. Вспомнилось, девушка доверчиво шепнула Ирине: «А у меня губнушка моднячая есть». И она намазала губы черно-фиолетовой помадой. «Ох, девки! — даже Ольга Осиповна напугалась. — Такими губами не завлекать, а пугать только мужчин». Он промолчал. Но настрой был примерно такой же: неужели истинной красоты не понимают? да не содрогнется ли мужчина, если его... поцеловать такими губами?

Ирина отомстила потом, танцуя с Максимом Никитичем: «А жена у вас, простите, вроде б старомодна. Нет в ней женской небрежности. Этакой, знаете, современной пикантности». Он усмехнулся тогда: «Слышала б Леля! И готов инфаркт. Деревенская женщина учит ее, горожанку, модницу, культуру... Инфаркт! Инфаркт!»

Откуда-то — из читанного рассказа или романа — всплыли слова: «Ему страшно не хотелось танцевать, а она порхала около, дразня его своей красотой, своей открытой шеей, глаза ее горели задором, движения были страстные, а он становился все равнодушнее и протягивал к ней руки милостиво, как король».

Что же? Я живу уже книжными ситуациями? Или все перемешалось — вымысел, жизнь? Ваня понял опасность — и вовремя свернул с трудной дороги. Адски трудной, изнуряющей. Где постоянна борьба со смутой, душевной смутой...

...Думать надо, болеть. За каждый шаг на сцене, за каждое слово. Болеть, болеть! Думать мы умеем еще, а болеть разучились. Не хочется болеть за казенное, когда на свои интересы недостает души. Вот в чем беда: искусство-то становится делом казенным. Обычной работой... Отливаем болванку, точим, фрезеруем...

Он уснул в кресле. В бронзовой пепельнице — старинной ладье, как выстрелившая пушка, лениво дымилась забытая сигара.

Когда Максим Никитич проснулся, все уже было на ногах: Виталик старательно утюжил электробритвой щеки, Ирина, строгая, чу-

жая, прибирала волосы, Ольга же Осиповна, готовая пойти на работу, наказывала, что поест, где найти.

— Разыщем, Леля, — сказал Максим Никитич. — Ступай спокойно.

Репетиция у него начиналась в одиннадцать. И он вызвался проводить Виталика до места встречи со своим неудачником-земляком. А пока, энергично размахивая руками, заряжаясь энергией, недоумевал: «Что я так размяк вчера? Не дается роль интеллектуального рабочего? Не мной сказано, но мной усвоено: нет таких крепостей, которых бы не одолели большевики. Все одолеем».

Жена отчитала его, что покурил ночью. И, уже стоя в дверях, уже поглядывая на часы, посоветовала:

— Ты же Ванечке-то позвони. Погорячил-ся парень. Так пусть не дурит.

— Он и не дурит. Такое, мать, за раз не приходится в голову. Знать, копилося, держалось подспудно — и прорвалось.

— Не пойму: он нам свой, что ли? Второй день слышу: Ванечка, Ванечка... О сыне, Вовке, так не печетесь, — проговорил племянник, только захлопнулась дверь за Ольгой Осиповной: с дядей он держался смелее.

— Да я — его шеф, наставник.

— А он — сирота или... благородной кости? — Виталик, побрившись, смочил лицо одеколоном и звонко хлопал себя ладонями по щекам — массировал.

— С чего ты взял? — усмехнулся Максим Никитич. — Ах, понял! С сиротой возятся из жалости, с благородной костью — из корысти? Так? Тогда ошибаешься. У Ванечки есть родные. Отец — столяр у нас. Мать — мастер по освещению. Очень скромные, душевные товарищи.

— Тогда пушай крутит или точит гайки с тестем! Чего вам-то встревать в его дело?

— А крутить гайки, по-твоему, не нужно желания и способностей? Да Ванечка вырос в театре, на наших глазах. И нам ли не знать, что театр для него — родной дом! Он ждал с нетерпением: когда же вырасту? когда выйду на сцену? Сердце его будет здесь, у нас, а сам — в цехе, за станком? Что за толк от такого токаря?

— Сердце — чепуха! Был бы котелок на плечах, — проговорил Виталик. Он еще хотел что-то сказать, но, видимо, не решившись, оборвал себя на полуслове. В его глазах — нет, нет! совсем не похожих на глаза Семёна — Максим Никитич прочел ревность и плохо сдерживаемое раздражение. «Однако, парень, ты чересчур избалован вниманием, — подумал он. — И в тебе — как же, чужого Ванечку привели! — полыхает ущемленное самолюбие».

Виталик сел за игру: мучила, знать, вчерашняя проигранная партия. Расставил пешки и так задумался, что собрал на лбу складочки-морщины. Максим Никитич, обидевшись за его непочтительный тон (что ты корчишь из себя?), подлил масла в огонь:

— Гляди не гляди, а в пешки тебя он обдерет, как липку. Играть в шахматы, в пешки — тут Ванечка мастак.

И пожалел о сказанном: Виталик сомкнул губы так, что от них осталась лишь одна черточка, какая-то нелепая, обращавшая его, парня, в глубокого старика.

Дорогой, когда отправились на встречу, лицо племянника оставалось по-прежнему неприступным, как парализованным. Максим Никитич, словно экскурсовод, пытался рассказывать о городе, но успеха не имел и спросил прямо:

— Тебе что, не интересно?

— Ничуть, — ответил тот с вызывающей простотой. — Я же не мальчик. Был тут Достоевский, не был — что для меня? Пустышка! Которая ничего не дает.

— Но ведь голый практицизм — это...

— То, что укрепляет нас в жизни!

Шум механической пилы, крики пильщиков: «Сюда, сюда вали-то!» — обратили их внимание. Кажется, оба — и гость, и дядя — обрадовались, что им не придется отстаивать тут, среди улицы, свои взгляды.

— Эй, лесорубы! Где тут мой земляк, Гошка Лохматый, не скажете? — закричал Виталик, взобравшись на свежий пенёк. О Максиме Никитиче, дяде своем, он забыл. Как-то сразу напрягнулся, грудь свою вы-

пятил, будто собирался демонстрировать награды.

— Ты выше залезь да ори. На крышу залезь, — проворчал пожилой прохожий. А среди пятерых пильщиков самый кряжистый — этаким окомелом — взвыл радостно:

— О-о, мать-перемать, бантик на косы! Виталик! — и бросил шест, которым клонил тополь, метнулся к гостю. серым засаленным рукавом смахивая с бровей белую куржу: — Виталик, земляк!..

Две пары их рук вцепились друг в друга. И ну таскать, кружить, вскидывать, тузить отчаянно, с криком радости. Столько тут выплеснулось энергии!

— Гошка! Лохмач!

— Виталик, земляк!

— Ты молодцом выглядишь.

— И ты — не посох, не скривился, а?

Максим Никитич глядел на племянника ошалев. В жизни словно происходила какая-то непонятная игра. Некто подsunул ему этого Виталика и дразнил второй день подряд. То приглушал — даже совсем затенял — свет души, то вдруг распахивал его, озарял и вроде как говорил: погляди же, вот он, Сенья твой, любимый брат, вечный друг.

Максим Никитич с трудом сдерживался, чтобы — третьим! третьим! — не вцепиться в этот живой, мятущийся клубок.

Гоша, освободившись, пояснил товарищам:

— Мы с ём выросли на мельнице. Дед мой молот, а мы там... матросили. Верхняя палуба, нижняя палуба, средняя палуба... По трапам — бегом! Паруса — убрать! Паруса — поднять! — и с дедом крутили ветряк. Мы и служили вместе. Да, но совсем не на море.

А Виталик, оглядевшись, вскричал:

— Вы ж, сукины дети, как умудряетесь впятером валить одно дерево? Столько людю кругом — и вам не стыдно?

— Провода тут, фонари тут, — смешался его земляк. — Глянь, все небо запутали.

— Не то говоришь, Гоша. Дай-ка я потешусь. Месяц бездельничаю. На днях сон снился: дрова колю. Трэк! Трэк! И летят от меня березовые поленья, — загорелся Виталик. — Я уже тут, как академик, выступать начинаю. Счас толькобрякнул: практицизм! — то,

что нас укрепляет в жизни. А? Подохнуть можно.

Сам говорит, а куртку — вон с плеча! галстук — вон с шеи! шапку — вон с головы! Поплевал на руки — и за пилу. Прислушался, как музыкант, к звуку.

— Эх, вы! — проговорил с досадой. — Чем заправили? Не соляркой ли? — и длинный язык- жало вонзил в дерево, крича: — Гоша, вставай там, где мне положить тополь. Да не робей. И не царапну.

— Ай нет! Прибьешь. Иль посидеть с нами захотелось?

Тополь, подрезанный с двух сторон, задрожал, закачался. Мужики, курившие, подхватили багры и кинулись к дереву. Но Виталик отпугнул крепкими словами: не мешай! к такой матери вас! работнички-и... И — хрясь тополь! И положил с треском, вздохом туда, куда показал рукой его земляк: сам он все-таки не стал искушать судьбу, не принял вызов.

А Виталик уже обошел другое дерево, глянул на крону, похлопал по корявому стволу: твой черед настал, дед! И снова вогнал жало. Задрожали руки, задрожали плечи. Сам Виталик задрожал, словно смеялся, борясь тут, у дерева, с пойманным зверьком. Максим Никитич, глядя на него, задумался: как он легко работает! а попробуй передать эту рабочую легкость на сцене! черта с два передашь! удивишься: ах, за пять минут — или восемь? — свалил два дерева?! не то, не убеждает!

— Слушай, — спохватился земляк Гоша, — ты ж тракторист. Пособи в другом — пни, занозки эти, надоть подергать. Второй день «Кировец» стоит: запил хозяин. А с нас участок требуют.

— Ну и нахал ты, Гоша! — беззлобно сказал Виталик. Остановил урчащую пилу и глянул на оранжево-яркий трактор. — Я там должен всю свою одежду умаслить?

Помолчал и проговорил с обидой:

— У вас доверяют забуддыгам такую технику?! — и лениво, неохотно, точно его оскорбили тут, начал одеваться: потную, раздохматившуюся голову едва впихнул в петлю

галстука, правый рукав куртки попал под хлястик и долго не давался.

Мужики обступили Виталика:

— Растолкуй, как это ты один управлялся на повалке. Мы тут запарились.

— Все просто: делайте запил да дерево почувствуйте. Больше и нет секретов.

Помялись мужики и снова начинают:

— Червивка у нас ладная. Покажи поняней — угостим.

— Что еще за червивка? — насторожился Виталик.

— Настойка из обрезных, порченных яблочек. Очень ладная!

— Да все я сказал! Делайте запил и...

— Бог с тобой! Все так все. Управимся!

Гоша, наверно, всегда подчинявшийся прихотям друга — да он для него, наверно, был самой яркой звездой — принялся защищать его:

— Обиделись, что ль? И зря! Может, не просто понять это, но сказал-то он все. Знаете, он какой? Наш Виталик. Без корысти он. В деревне всем прёт-тащит то сенцо, то дровишки. А रुपь — не суй. Выпить — не зазывай. Мы — бросовый товар, а он — ценит себя. И верно: распустился, поослабься — запоят ведь, убьют, любя, зараз. А уж любя-то... И стар, и мал одинаково зовут: Виталик... Виталия...

— Святоша!

— Да не-е. Какой он святоша? Обыкновенный. Он — людям. Люди ж ему пособляют. В огороде покажется с лопатой али тяпкой — к нему женщины да бабки, как сороки, слетаются. Пошел сено косить — мужики, деды, какие поздоровше, в помощь. Так и ведется.

— Пузырь, стало быть, современный.

— Что ты, Лохмач, распинаешься перед ними? Этот говорун, сдается мне, всю жизнь руки-то свои от микробов прятал, а теперь хочет, чтоб деревья сами валились, — проговорил Виталик и сунул в руки земляку сверточек: — Держи. Тут тебе мать гостинец шлет.

И пошел. Сердитый, придавленный. Земляк глядел вслед. Жалостливые глаза криком

кричали: оглянись же, попросаемя. Много уже отошел Виталик и тогда только, может, почувствовав тот зов земляка, обернулся:

— Гошка! А ветряк без тебя забросили. Орава ломать, корежить начала — я забил двери, окна накрепко. Берегу! Как отвяжут тебя, так домой ворочайся: ты, как видно, на всю Сибирь один такой мельник и остался.

А поровнявшись с Максимом Никитичем, сказал капризно:

— Я хочу сразу на вокзал. Не то... Слышали разговор? Какой-то пентюх пузырем окрестил. Жаль, селян моих тут нет. Юшку б сразу пустили.

Максим Никитич, сконфуженный не меньше, чем земляк Виталика, подумал: «Подожди, я тебя еще крестить начну. От нас ты поедешь человеком». И сказал с горечью, сожаленьем:

— Что ж, беги. Но я надеялся, что племянник в театр ходит, посмотрит, как его дядька играет. Или тебе хочется так, без тепла, расстаться?

Стычка Виталика с мужиками-пильщиками окончательно настроила Максима Никитича: усложнять пьесу, усложнять героя — и никаких! Причем по-ударному, чтобы не сорвать спектакль.

Самая большая беда — творческое бесплодие. Он пережил это. Самое большое счастье — творческое озарение. Он переживал это. Напевая: «Сердце просит не слез, а живет отрадой; вот умерь — ну, тогда ничего не надо» — он вошел к своему режиссеру.

— Есть кое-какие мыслишки.

— Изуди, сатана, — улыбнулся режиссер, а в глазах — Максим Никитич уловил отчетливо — мелькнул испуг.

— Так вот что думается, — проговорил Пеший, усаживаясь в кресло перед столом. И начал рассказывать. Чем больше он говорил, тем в большее уныние повергал режиссера. Так и не дослушав артиста, он схватился за голову:

— Опять фантазии! Тебе не живется спокойно? Ну, плохая пьеса, доиграем сезон —

и забыли про нее. Была — и нет! Адью! Прощай, значит.

— Народ-то не идет. Пьеса лишена эмоциональной заразительности. Вы помните слова Луначарского? «Революция сказала театру: «Театр, ты мне нужен... Ты нужен как помощник, как советник». А мы во что превращаемся? Даже артисты поговаривают: для себя играем... Не веет от нас энергией. В жалкую группку превращаемся. С дороги сходим на обочину.

— Слова! Слова! Слова! — Режиссер закурил. Темно-пепельное, бескровное лицо скрылось в дыму. — Да мне, дорогой Максим Никитич, больше приходится слышать претензий. Время Луначарского — одно. Наше время — другое. И мы — другие. Ты не замечаешь перемен. Так послушай меня, — вещало словно облако дыма. — Главное, не теряться, когда высказывают претензии. Я говорю в таких случаях: текст, все текст виновен! нет доброго текста! дайте мне шекспировскую пьесу на тему дня! А? Или я из года в год должен ставить одну «Иркутскую историю». Открою секрет до конца: это даже хорошо, что текст несовершенен: нам есть на что со- слаться.

Максим Никитич, сдерживая гнев, проговорил:

— В данном случае текст можно поправить. Я берусь поправить. Если...

— Но это же произвол! Что нам скажет товарищ автор? — позвольте спросить в таком случае.

— Спасибо скажет. Автор, чувствуется, молод. Плужок тянет робко, глубь не берет. А мы поможем. И встряхнем.

— В соавторы, Максим Никитич, даю гарантию, он не примет. Благодарность остается. Прости, но она ничего не стоит сегодня. Так какая тебе радость?

— Моя радость — когда зал полон, когда каждый зритель живет со мной, поддерживает меня — хлопает, не жалея ладошек. Вот приятно. Ночью даже пробужусь, выйду на балкон — стою, а в душе каждая жилка поет.

Режиссер нервными движениями примял, загасил сигарету. Встал и прошелся перед Пешим. Они были ровесниками. Путь оба

прошли одинаковый: фронт — театр. Но один уже угасал, другой был полон огня. Уверенность Максима Никитича раздражала режиссера. «Ставь пьесу Артура Миллера — и с тем на равных поведет спор?» Не то чтобы он завидовал успеху, популярности артиста — нет. Раздражало беспокойство.

— Немыслимое дело, — проговорил он сейчас, лишь на миг представив, что же нужно сделать за считанные часы, чтобы в корне изменить спектакль. — Немыслимое дело! Надо ж пригласить автора. А где он? Ищи ветра в поле.

— Найдем, убедим, — проговорил Максим Никитич. — Живем-то в какой век? Связь — звони на край света. Реактивная авиация — семь часов лету до Чукотки.

Его оптимизм окончательно вывел из себя режиссера:

— Ты упрям, как мальчишка! — сорвался он. — Да автор, может, в Москве, может, в Киеве или Рязани.

— В Киеве, в Рязани или деревне Монашке, а найдем. Поручите кому-нибудь. Я верю в разумное: в бескорыстную помощь людей, в заинтересованность автора, в силу нашего коллектива, что он все успешно переварит. В тебя, ворчуна, верю: зажгись! загорись! закрутись! Я ж с нашим могучим литературным редактором примусь за дело. Через два дня — посмотришь! — спектакль прозвучит. Я сыграю этого современного пузыря!

— Именно пузыря! Автор показывает положительного героя. Интеллектуального рабочего! Это... веяние времени!

— На твой взгляд. А на мой... пока он, интеллектуальный рабочий, — не ведущая сила класса. За правду-матку он не кинется с открытым забралом: боится потерять место, о своем душевном покое печется. Секретов мастерства никому не откроет: как бы не обошли с флангов!

И, словно подытоживая разговор, тоже встал, хлопнул ладонью по столу:

— Пока это не вино, не спирт. А бражка. Время надо, чтоб перебродила, отстоялась, набрала крепость. Да и мы не должны быть ожидающими. Воздействовать на этих людей, чтобы...

— Послушай, Максим. Послушай! Мы с тобой артисты, а не социологи, не философы, чтобы новые явления открывать в обществе. Нового автора открыть — это я понимаю.

— По-твоему, пусть пьеса умирает. Год ей дали на адаптацию, не прижилась — и в корзину! А по-моему, то (после определенной помощи), что может приносить людям радость, пользу, должно жить.

— Дорогой, если каждый артист так начнет активно улучшать, ухорашивать свою роль, то что же получится с пьесой? Уверяю: ни один автор не станет писать для театра.

— Наука уже отказалась от одиночек. И развивается. Да как! Искусство — пока, может, моя мысль покажется кощунственной — со временем тоже станет коллективным. И оно от того выиграет. Кино уже делает первые попытки. И, надо признать, удачные.

— Вам мал наш театр! — вскричал режиссер. — Не замечаете? Я не хочу больше говорить о ваших экспериментах. Идите к главрежу. Вы ж оба... не можете без карусели. Все, все! Он, наверно, давно ждет вашего озарения. Запоет арию: я-а не ошибся-я, доверив такую роль Максиму Пешему. Признаюсь, он вообще считает, что на вас двоих только и держится наш театр.

— Спасибо, спасибо за такое признание, — с иронией проговорил Максим Никитич, направляясь к выходу. Шел он не очень решительно, так, точно ждал, режиссер вот-вот одумается, вернет его. Но за спиной звучал все тот же нескончаемый монолог:

— Я не удивлюсь, если ты шас в кабинете главрежа застанешь и автора пьесы. Вы же... с полуслова понимаете друг друга. Вы же... одним воздухом дышите. А по мне — просто баламуты.

Два дня, две ночи невообразимой, неописуемой лихорадки кончились, как миг. Театр уже распахнул двери и впитывал в себя шум первых зрителей, когда Максим Никитич вошел в свою уборную: пора ж одеваться. Устало опустился перед зеркалом. Сладкая,

заманчивая жизнь обожгла его, и замученные глаза осветились улыбкой:

— А драматургия-то... прелестная женщина!

И усмехнулся невесело: «Вот влюбился... старая бяка!»—и провел по лицу, словно втирая крем. Потом одна ладонь спряталась под мышку, а другая сжала, стиснула губы, вроде приказывая: молчи об этом! ни слова больше. И он замер так. И не заметил, как сон сковал веки.

Ольга Осиповна, бодрая, уверенная, без ступа ввела гостей к Максиму Никитичу, говоря возбужденно:

— Тут он, беженец! Бросил нас, за какую-то даму сочиняет пьесу... И жене ход закрыт.

Но застывшая, сиротливо-трагическая поза мужа наугала ее. Ольга Осиповна метнулась к нему с криком отчаянья: «Мака! Да что с тобой?» Потрепала его голову: «Ты спишь?»

Максим Никитич не отозвался.

— Да что с ним, господи! Ирочка, миленькая, ты нащупай пульс. У меня руки трясутся.

Пока Ира искала пульс, Ольга Осиповна глядела на нее со страхом и надеждой: «Жив? Да ты скажи мне...»

— Еле-еле тикает,— наконец оповестила Ира.

— Написал! Нарботал!— привычным тоном женщины, осуждавшей все, что делается помимо ее воли, проговорила она.— Это сердце. Это инфаркт.

Через минуту уборная Максима Никитича была заполнена людьми. Гадали: спит? или инфаркт? или что-то другое? Трогать его боялись и ждали «скорую». А время перед спектаклем летит быстрее обычного. Это заметили еще древние греки.

— Уже поднят занавес,— вошел в уборную взвинченный режиссер.— Я утверждал— и настаиваю!— фронтовые времена давно канули в прошлое. И вот — результат. Что же делать!

И забасил над артистом:

— Занавес, занавес поднят! Да вы хоть вызвали «скорую помощь»? Черт побери...

Максим Никитич очнулся, поглядел на со-

бравшихся непонимающим взглядом. Режиссер обрадовался, склонившись, обнял артиста:

— Ты можешь играть? Зрители ждут... Что случилось?

Максим Никитич сорвался с места:

— Какой разговор! Какой разговор! Дорогу мне. Дорогу!

Он вбежал на сцену с заспанным, помятым лицом: «Опоздал? Заждались? Ох и бежал я! Надо же, в трамвае уснул. Проехал мимо своей остановки. Впервые такое!— и потянулся сладко, видя, что его не пробирают, что он все-таки прибежал чика-в-чику:— Ох, а женщина приснилась мне! Женщина-а... И духи у нее,—он вздохнул,—чувствуете, кажется, и завод ароматом пахнет.

Максим Никитич мельком, вскользь, глянул на второй ряд, в центр,— сюда пробиралась жена с гостями, здесь сидела автор пьесы. «Не завод, а театр, кажется, напоен ароматом ее духов»,— он это почувствовал сразу, только ступив на сцену.

Импровизация удалась. Зритель, уже заволавовавшийся было, приумень, с понимающей улыбкой глядя на героя: проспал? а, это знакомо нам!

— Стан сегодня останавливают на ремонт,— говорит начальник смены.— Так что нам придется помогать механикам...

— А план?— надевая каску, тотчас же посерьезневший, подобрался опоздавший оператор стана.— Мы же не справимся с планом?

— Механики обещают досрочно закончить ремонт. У нас будет в резерве часов семь.

— Механики, механики... На них надейся. А соловья-то, знаете, баснями не кормят. Вы, Петрович, потяните резину с этими механиками, а я катану план.

— Да второй электромотор что-то барахлит. Сгореть может.

— Не сгорит. А сгорит — туда ему и дорога. Новый поставят. Десять понадобятся— и десять найдут. Без премии — скушно придется. Лишняя денежка — это музыка, доброе вино, круиз вокруг света, женщина, которую видишь во сне... Денежка — это хорошая жизнь, ребята. А кроме того — не за-

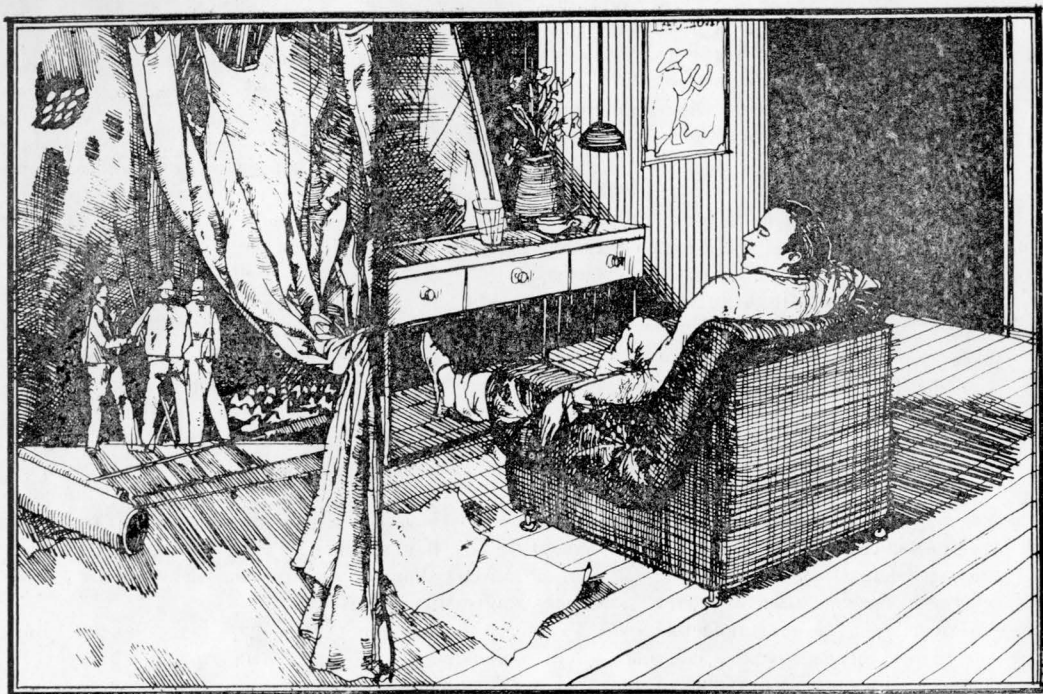


Рисунок Я. Полуэктова

бывайте! — план — это и слава нашему начальнику. И почет. Ну?

Уговорил! Он вбегает по трапу в кабину пульта, как моряк на боевой пост по боевой тревоге: дорогá каждая секунда. Жмет на кнопки и потом уже, когда загрохотал стан, снимает галстук и прячет его в карман.

— Ты обращаешься с начальником смежны, как... с мальчиком на побегушках, — говорит ему.

— Так оно и есть, — не отрывая взгляда от стекла, за которым мелькали красные полосы раскаленной стали, строго говорит оператор. — Кто же он, если не мальчик на побегушках? Хороший рабочий, знающий цену, всегда диктует условия.

Минута за минутой, шаг за шагом Максим Никитич лепил, создавал своего героя — живого, действующего. Овладевал зрителями. И не он сам, а кто-то другой, невидимый на

сцене, словно кричал: не будьте такими! не будьте такими!

В какой-то момент встревоженный взгляд Виталика обратился к Ольге Осиповне. «Да он же, глядите, продергивает меня!» — прочла она отчаянный крик в этом взгляде.

«Не продергивает, родной мой, — мысленно ответила ему она. — Очищает. Давно сказано: театр — это чистилище. И ты очищайся. Это великое благо — очищаться — дано лишь людям с живым, участливым сердцем да светлой головой. Вы ж, Пешие, такие и есть. И все талантливы. На работе ли, на сцене ли. Вот тетя твоя... Кто она? Не академик. Пивовар! А умница... В институт пищевой промышленности взяли, так мужики всей округи побесились прямо-таки: враз не то пиво стало. Засыпали письмами область: верните Зинаиду Никитичну! И вернули. Может, ей и хуже у нас. Человек же не должен

стоять всю жизнь у одной бочки. Хоть она и большая. А приехала! Я к тому это говорю, Виталенька, что человек с талантом не принадлежит себе. Народу всему! Я только теперь, глядя вот на своего Максима Никитича, и поняла это. И душу свою очищаю...»

В антракте в уборной Максима Никитича опять было полно народу. Дым коромыслом, хохот. Тут уже пили кофе, шпарили анекдоты, до которых Максим Никитич был великий охотник.

Когда вошла Ольга Осиповна с гостями, он выделил из них троих лишь Виталика.

— Ну, — сказал он, — наподавал я тебе?

А глаза светились любовью.

Друзья Максима Никитича оставили их одних. Разливая кофе по чашкам, хозяин пригласил гостей к столику. Ирина, обычно торжественно-молчаливая, сейчас, сев только, охотно заговорила:

— Мы в Омске были в театре, там нас почему-то не тронуло представление.

— Там не играл дядя, — сказала Ольга Осиповна. — Там были все чужие. А театр хорош тогда, когда тебе каждый артист хорош: радуешься удаче, переживаешь, если случится срыв... В театре жить надо, а вы, молодые, когда вас загонит случай, глядите на все глазами ревизоров, инспекторов из райотдела.

Максим Никитич перехватил взгляд Виталика, какой-то прячущийся, приценивающийся, да исподтишка. Терзается он, что ли? Осуждает своего дядьку?

Спросил:

— Что, Виталий, продолжаешь перемывать мои косточки? Во имя чего я тут днюю и ночую? Старые стулья, старый телевизор...

Виталик, улыбнувшись смущенно, мотнул головой:

— Нет. Стулья... Что стулья?

Минуту, две назад, когда закрылся занавес, когда зрители — стоя — хлопали и скандировали «бра-во, бра-во!» когда без конца вызывали Максима Никитича, чтобы этим хлопаньем, криком одобрения выразить свою признательность, любовь, Виталик понял, что кроме рубля есть иная ценность. И она воз-

вышает человека до такой степени, что он, как фосфор, начинает светиться.

— Вы так похожи сегодня на дядю Семена. И глаза, и... Вам двадцать пять сегодня.

— Вот здравствуй! — вскочил Максим Никитич. Всего ожидал он от племянника, но только не этого. — Я его сравниваю, сравниваю с Сеней, а он — меня самого! Ну, хорош! Ну, хорош!

— Мне сразу-то показалось, — Виталик замылся, — колючий, что ли вы... Надутый! Туз без колоды. И ничего от дяди Семена. А мама мне уши прожужжала: вы все трое похожи. Увеличила фотографии: гляди! А отец, когда на меня рассердится, так кричит: уезжай к своему дяде Максиму, он один у тебя на уме, ты в их, Пеших, породу удался...

Максим Никитич, глядя на Ольгу Осиповну, с грустью сказал, покачивая седой головой:

— Вот главное, о чем мы забываем: какими мерками нас самих меряют. Не теми ли самими же?

— Вы простите меня, дядя Максим. По-кривлялся я, вроде ничего не интересует. Если б не интересовало, я б не приехал...

— Полно выкатить-то. Знаю: мы плохо понимаем друг друга. Мы трудно понимаем друг друга, прежде чем стать родными. Я ведь тоже не ангел. Что мне ваша боль, радость, терзания! Думалось, хватит этого и на сцене. Не разорваться же.

Требовательный звонок известил: антракт окончен. Они продолжали говорить торопливо, боясь что-то упустить, словно этот звонок разлучал их навечно.

— А как тебе, Леля, авторша? Понравилась? Ты бы, надеюсь, не стала перешивать ее нарядный костюм?

— Я бы, Мака, раздела ее. Да с удовольствием. Я чувствую: ее надо раздеть. Мне уже передали, как она отозвалась о совместной работе. Она рада-раदेशенька, что ее пьеса-недоносок попала в руки истинного человека, которому и за три версты поклониться не грех.

— Ну, ты уже развезла целую историю. А что Ваня? Он даже не пришел на спектакль?

Ольга Осиповна не успела и рта раскрыть, как в дверях показался запалившийся Ваня Соловейчик.

— Я тут, Никитич! — сказал он. — Мне позвонила мама: что ж ты, голубчик, сидишь дома со своей птичкой, которую одно железо интересует? Тут так играет сегодня Максим Никитич, так играет! Он для тебя ж играет. Погляди на людей. Твой телевизор разъединяет их, а здесь... общая радость.

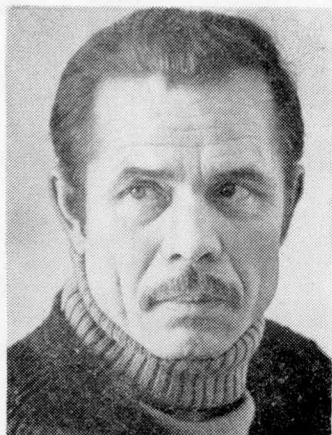
— Ну, пойдёте, пойдёте, дети! Третий звонок звенит. Я уже раз опоздал на сцену — этого довольно. Леся, теперь ты мне погрей руки. Всегда горели, а сегодня что-то мерзнут.

— Душу ты нам выплеснул. Но мы тебя согреем. Будь спокоен.

...Свет в зале померк. На сцене началось второе действие.

г. Новокузнецк





ГОНЧАР

А с виду он простой горшечник.
Всего-то: глина, круг, рука...
Но скольких вылепила женщин
седая мудрость старика:
на головах несут кувшины
и стройны станом, как лоза!
И изумленные мужчины
не могут отвести глаза.
Земных красот вокруг немало
среди нагорий и долин,
но надо, чтобы понимала
душа возможность серых глин.
Кувшин ли коронует женщин,
иль взгляд, который смел и юн?
Наверно, я — простой горшечник,
а тот горшечник —
он колдун!

* * *

Есть одна сибирская река.
Берега ее из тальника,
а сама она из берегов
и из отражения лугов.

До меня теперь ей трын-трава.
И она по-своему права:
все грустить умеют вдалеке
о своей оставленной реке.
А она течет себе, течет,
то вольна, то спрячется под лед,
тащит бревна и поит стада —
у нее бессменная страда.
Не иссякнуть ей, не обмелеть —
углубляться, шириться, полнеть
без меня, хмельного ручейка.
Вот какая снится мне река.

* * *

В лесу калину брали
три краснощеких крали.
Ах, рясная калина,
орясиной я был:
слонялся по долинам,
где в сограх чернобыл.
Одна звала, играя:
— Симпатия моя!..
И шла с ведерком с краю
опушки у жнивья.
А я бежал в осинник,
я в ельник попадал
от страсти непосильной,
которой не знавал.
И падал в мох ползучий.
И был, как пень, святым...
И шли по небу тучи
за солнцем золотым.

ТРАВЫ

Трава забвения бывает —
права народная молва,
в анабиозе пребывают
до срока мудрые слова.
Да и в разрыв-траву я верю —
входил с другого я крыльца
в неотворяемые двери
и в неприступные сердца.
И знаю: спит под белым снегом,
пока весна возьмет права,
траву с пушистым сладким стеблем,
загадочная сон-траву.
Проглянет в срок она, и сладко
в лиловом венчике пчеле;
и улыбнется вдруг солдатка
березам, небу и земле,
забудет день и год идущий,
в былое глянет сквозь провал...
И ей травы не надо лучшей.
И здесь, природа, ты права!

* * *

Ищем лиры,
ищем гусли —
Русь
должна все знать о Руси.
Строим домны.
Верхолазам
суждено остаться сказом.
Неизбежно станем тайной,
как положено всему!
Златокудрое создание,
дай при жизни обниму.

* * *

Повспоминать бы с вечера
при свечке восковой,
о том, как пело вечное
у нас над головой,
о прикосанье алого
любви земной
пера,
как будто ветра шалого
посереде двора.
Живем с тобой, не мучимся,
совместно варим суп,
не очень слушать учимся
соседей скорый суд,
и чтиво есть, и печено,
и кров над головой,
а вот припомнить нечего
из вечного
с тобой.

* * *

Поджимает возраст,
а я не спешу,
каждый жест и возглае
потихонечку пишу.

Старым стал, коняга!
Глазом покошу:
снова обгоняют,
а я все не спешу.

Сломались машины,
кончился бензин.
Куда же вы спешили
мимо лет и зим?

г. Осинники



ТАМ, ЗА СТЕНКОЙ

Рассказ

Молодому учителю литературы Андрею Андреевичу Иванцову дали комнату в коммунальной квартире. Соседом его оказался тоже холостяк: лет что-то около пятидесяти, зовут дядя Митя.

Человек дядя Митя на редкость пунктуальный: по пятницам возвращается домой в состоянии тихого опьянения. Упершись затылком в стену, долго скоблит пяткой сапога по носку другой ноги... Освободившись от обуви, цепляет на вешалку скрипучий плащи, нахлясь, идет к себе. Ступать старается твердо, на всю ступню, и со стороны можно подумать, что человек просто устал.

Через минуту из его комнаты несется тягучий и дребезжащий храп. Храп этот выводит Андрея из себя: у, алкаш несчастный, — шевелит он губами. Андрей тоже не трезвенник, и ему случается выпивать, но не до того же, чтобы ни тяти ни мамы... Выпивать надо культурно. Он вспоминает серые, цвета застиранной простыни глаза соседа и сует голову под подушку.

Утром они встречаются на кухне. Дядя Митя бредет умываться. Походка у него уже не такая, как накануне, — с претензией на твердый шаг, теперь она у него какая-то неуверенная, будто идет он по битому стеклу. И похож в этот момент дядя Митя на старого общипанного воробья. Вяло поплескавшись, он нарезает ветчины, пресно пережевывает

ее и уходит. Куда — Андрей догадывается: или к дружку Егору, у которого всегда есть выпить, или к подружке Лизавете, у которой наверняка тоже припасено.

Но вот приходит воскресенье, и дядю Митю не узнать: долго фыркает в ванной, надевает чистую рубаху. По воскресеньям дядя Митя ходит в кино. В кино он любит ходить утром — «толкотни меньше». Одевшись, старательно изучает последнюю страницу местной газеты, но идет все равно в ближайший от дома кинотеатр «Коммунар».

Вечером он ждет Андрея на кухне. Сидит у печки — они живут в старом доме, — курит. Андрей садится ужинать. Дядя Митя лезет в стол, достает кусок ветчины:

— Угощайся!

Вот, поужинав, Андрей убрал посуду, вытер стол. Дядя Митя ловит этот момент и поддвигает пачку «Беломора»:

— Закуривай, учитель!

Что делать? Андрей закуривает. Дядя Митя подставляет поближе табуретку:

— В среду это... приезжаю в организацию. Подходит ко мне хозяйка: так, мол, и так, надо бы до мебельного сгонять. Кресла, говорит, на одной ноге выкинули...

Истории эти старые, и Андрей перебивает соседа:

— Как кино-то, понравилось?

Пока дядя Митя, сбитый с толку, сообра-

жает, Андрей сам рассказывает ему о фильме. При этом он прохаживается по кухне и, оказавшись у дверей, заканчивает:

— В общем, не зря сходили. Ну, пока!

— Может, это... в картишки перекинемся? — кричит вслед дядя Митя.

— Некогда, — на ходу отвечает Андрей, — у моих оборотов новая тема.

— А-а... Ну, давай готовься...

В будние дни дядя Митя молчалив: придет с работы, сварит супчик и спать. Даже телевизор и тот редко смотрит.

Иногда дядя Митя вдруг уходит из дому.

— Куда это вы, дядь Мить, на ночь глядя ходили вчера? — спрашивает назавтра Андрей.

— Да к Егору...

— А как его жена насчет поздних гостей?

— Она у него баба понятливая, — мечтательно улыбается дядя Митя, — по стопочке нам нальет, огурчиков поставит.

— А как же на работу с запахом? Или лавровым листиком закусываете?

— Старо, учитель.

— Кофейным зерном?

— Опять не угадал, — дядя Митя не торопясь разминает папиросу, — есть, учитель, такое ядрышко, что хоть в десять пробирок дыши, — начисто запах убивает.

«Ну, как?» — спрашивают хитро прищуренные глаза дяди Мити.

— Аферисты вы, — цокает Андрей и смотрит на часы. — Ну, пора в школу.

«Слава богу, что у нас никаких пробирок», — думает он по дороге.

...Однажды в пятницу вечером дядя Митя пришел на кухню совершенно трезвым. Это было до того неожиданно, что Андрей поморгал: не показалось ли?

Не показалось. Дядя Митя тяжело присел за стол, пригладил спереди полоску реденьких волос.

— Что, дядь Мить, деньги кончились?

Дядя Митя не ответил, посмотрел мимо.

Андрею стало совсем интересно: что это вдруг с соседом?

— Гололед нынче, трудно ездить-то?

— Да как тебе сказать, — потирая пальцами веснушчатые щеки, вздохнул дядя Ми-

тя, — ежели с умом, то ничего, а ежели без ума... — он поводит туда-сюда шеей, будто воротник тугой давил, посмотрел на Андрея вроде как недоверчиво, опять вздохнул, — один у нас недавно доездили. Позавчера это... Я на ремонте стоял. Не тороплюсь — куда по такой погоде-то... А Витька — есть там у нас один парнишка — взялся ехать. Мне, говорит, за четыре восемьдесят на ремонте сидеть не улыбается. Ну, если не улыбается, то тогда конечно... Минут через двадцать смотрю — тащат его машинешку. Передок — всмятку. Как же это ты, говорю, сынок, умудрился?

— А если бы вы на его месте были?

— Я? — дядя Митя хмыкнул. — Да я сколь езжу — еще ни одного нарушения. Я, учитель, машину понимаю...

Он закинул ногу на ногу, оживился:

— Вот как-то... подъезжаю к светофору и чувствую — помирает моя «Колхида». Дополз потихоньку до гаража, вызываю мотористов — прокладка в головке блока, говорю, прогорела. А они мне — да ты что, Степаныч, не может быть: только что меняли. Ну, стали смотреть. Конечно, врачу легче, чем шоферу. Приходит к нему больной, к примеру. Тот: где болит? Здесь болит. И все ясно: какие пилюли прописывать, какие кишки резать. А машину пойдя спроси! Но опять же — ежели ты на ней десяток лет поездишь, то она тебе как жена становится, — дядя Митя кашлянул, потянулся за папиросой. — В общем, обсмотрели мотористы — все нормально. Я им опять — снимайте головку! Сняли — и точно, прокладка прогорела. Как это ты, говорят, угадал? А чего тут угадывать: не первый год за рулем.

— Вы все это время на этой машине?

— Не, сначала я на «БелАЗе» пробовал — уголь с карьера возил. Да скучно стало: что это — туда-сюда и все по одной дороге. Ушел. Здесь интереснее. Бывает, по межгороду ходим. В Томске бывал, в Кемерове. Да и по городу тоже весело. Недавно вот... Приезжаю в организацию. К концу смены подходит хозяин — ящик тушенки не желаешь? Куда, говорю, и что? В Карлык, отвечает, железобетонные сваи. Не пойдет, говорю. Он дума-

ёт, что я не понял, и снова: тушенка, мой, импортная, пятнадцать сантиметров банка. Да хоть пятнадцать с половиной... Он, конечно, нашел себе, двух «БелАЗов» снарядил. Пузан!

Дядя Митя потянул руку к шее — она у него была когда-то обожжена, и теперь эту стянутую красноватой кожей полоску он и принялся потирать:

— На стройке, говорит, возьмем, там сейчас никого. Санаторий он на сваях захотел, семейный... Скоро, наверное, придумает, чтоб в туалет на вертолете летать...

— А вот вы мебель возите — это же тоже калым? — с осторожной ехидцей спросил Андрей.

— Сравнил тоже! Тут дело житейское. Кто эту мебель, по-твоему, возить будет?

— Грузотакси должны быть. Я вот в Риге когда был...

— Хо! Пока твоя Рига до нас дойдет, на моей «Колхиде» все колеса разбегутся.

— Но надо же что-то делать!

— Что? — прищурился дядя Митя.

Андрей загорячился:

— Я не знаю, я не специалист, но думать надо.

— Ежели все думать будут, знаешь, что начнется?

Андрей навалился на стол, он желал возразить, но пока искал подходящее слово, дядя Митя мирно вздохнул:

— Эх, на пенсию скоро... Немного уж осталось — у меня ж горячий стаж, — он опять пригладил волосы, подпер ладонью подбородок. — А кем я, учитель, только не был! Сначала — плотником. Мне сейчас дай дерево и инструмент — излажу, что хочешь... Слесарем работал, кузнецом, уборщиком горячего металла. Теперь вот шофером. А раз, — дядя Митя засмеялся, — меня аж за директора завода приняли. В шестьдесят четвертом году это... отдыхал я в Крыму, в санатории. Познакомился там с мексиканцем. Мичес Илисович его звали. Не знаю, как у нас оказался, — то ли сбегал из своей Мексики, то ли еще как, но в общем, жил он в Ташкенте. Умный мужик — восемь языков знал.

А жил с нами в палате один директор завода — круглый такой мужичонка, красный — как помидор. И повадился этот помидор досажать Мичесу: скажите, говорит, товарищ Мичес, как будет по-испански фикус? Илисович ему ответит. Тот опять: а как будет по-узбекски пальма? И так каждый день, по пятам за ним катался. Ну, однажды Мичес не стерпел: скажи, говорит, Степаныч, ему, что он дурак. А как же я ему скажу, что он дурак, если он директор завода?

Илисович мне потом говорит: вот ты, Степаныч, настоящий директор, ты к людям с пониманием относишься. Я ему — да работаю я, а он не верит, руки у тебя, говорит, без мозолей.

А я тогда уборщиком горячего металла работал — попробуй там без рукавиц! Объяснил ему, а он — ни в какую. Так, поди, и до сих пор считает, что я — директор. Директор машины — это еще куда ни шло. Хотя... пришлось и мне в начальниках походить. Работал я одно время кузнецом на машзаводе. Трое у меня тогда в подчинении было: подручный, обрезчик металла и кочегар. Зарабатывали мы хорошо — у меня тыщи по четыре в месяц выходило. У остальных, конечно, поменьше, но тоже ничего. Но чтоб разбиваться из-за этих денег — никогда. Бывало, к обеду норму сделаю, вешаю куфайку на гвоздик — хватит, говорю, ребята, всех денег не заработаешь. А сейчас — рвут эти деньги, копят, утром на работу идешь, у ювелирного очередь, как в войну за хлебом. А возьми мою Лизавету — не смотри, что толстая, каждой копейке счет ведет. Если б я на ней в свое время женился, она из моей зарплаты давно уж какой-нибудь ковер с самолетом сделала... А я честно — отдаю зарплату в гастроном. Когда помоложе был, в ресторане любил посидеть. Сейчас, конечно, отошло времечко... Иной раз скалымишь на бутылку, позвешь Егора в кабину. Другой раз Егор тебя встретит, два рубля покажет. Смотришь, еще по два отыщется. Куда их деньги-то — солить, что ли... Гарнитур мне теперь ни к чему, ковры тоже. Вот и гонишь на водку. А что делать-то? Ежели бы у меня семья была,

тогда конечно... А так? Я вот иногда думаю — какой у меня в жизни интерес?

Дядя Митя встал из-за стола, нацедил в кружку воды, долго пил. Вернувшись, улыбнулся.

— Ко мне ведь это... супруга-моя бывшая приходила... Во вторник еду в организацию, смотрю — свояченица стоит, Лидка. Остановилась. Села она и давай с ходу подбираться: чего бы, говорит, тебе, Митя, с женой не сойтись? Оба, мол, уже в годах, хватит порознь маяться. Жена, говорит, твоя себя за ту ошибку исказнила, надо простить ее. И все в таком роде. Но я ей сразу: давай, мол, Лидка, этот разговор в багажник положим и другой разговор заведем. О вреде алкоголизма, например. Вышла она, где ей надо, и что ты думаешь? Заявляется вечером с моей бывшей супругой — тебя дома как раз не было. Выпить достают. Да что они, бутылку принесли — мне одному две надо... В общем, давай меня уговаривать: то да се... А чего меня уговаривать — что я, мальчик? — дядя Митя опустил кулаки на стол. — Похож я на мальчика, учитель?

В общем, ничего у них не вышло. Супруга, правда, потом еще приходила... Сегодня вот тоже... гляжу, на лавочке сидит.

Лицо его вдруг будто сжалось, стало похоже на скомканный лист бумаги. Дядя Митя сдвинул пальцами тлевший окурочок папиросы, прижег подушечки и поморщился. Но, бросив окурочек, вытянул губы в подкову:

— В общем, весело пожил... Ладно, пойду спать.

И ушел.

Андрей разогрел горох со смальцем, сварил всмятку два яйца, перекусил и тоже пошел к себе. Включил телевизор, шла передача «Что? Где? Когда?». Досмотрел ее, послушал последние новости. Рейган одержал победу над Картером, иранцы и иракцы убили друг друга шестьдесят семь человек.

Во дворе одичало хохотали подростки, таякали собаки. Андрей включил магнитофон и надел наушники.

Когда подростки разошлись, он покурил и лег спать.

Раньше, когда в квартире жил один хозяин, комнаты были смежные. Потом дверь заколотили досками, кое-как заштукатурили, забелили, но изоляция была плохой, и в полной тишине было слышно, как там, за стенкой, кашляет, ворочается и чиркает спичкой дядя Митя.

«Да, история, — вспомнил Андрей недавний разговор. — Хотя все обыкновенно, в общем-то... Ну, поработал мужик, ну, жена изменила. С кем не бывает...»

С этим бы и заснуть. Но сосед за стенкой скрипел кроватью, и Андрей поневоле продолжал думать о нем. Вспомнил его приятеля — шумного краснощекого Егора, полнотелую Лизавету, которые изредка навевались сюда, вспомнил, как дядя Митя жулькает в ванной свои рубашки, как трет свою обожженную шею, — потом все это вдруг разом отодвинулось и явилась Андрею простенькая, что и вслух-то ее произнести неудобно, мыслишка: а каким вы, Андрей Андреевич, будете в его годы? А вдруг да и у вас все пройдет так же — без интереса?

«А, ерунда: нашел тоже с кем себя сравнивать!» — усмехнулся Андрей.

Завернул руки под голову, полежал так. Наверху кто-то тяжело прошелся по половикам.

«А ведь заново не переживешь, — вспомнил он сказку Гайдара, — это тебе не сочинение переписать...»

И тут ему, прямо кстати, вспомнилась давняя история с восьмиклассником Хаустовым. В школе ждали комиссию. Директриса взяла Иванцова под локоток, подвела к стене и показала пальчиком на школьные обязательства.

— Выводы, уважаемый Андрей Андреевич, — сказала директриса с тонкой улыбкой, — делайте сами.

А восьмиклассники у Андрея только написали сочинение. Он отобрал несколько совсем уж безграмотных работ и раздал их ученикам — перепишите! Все взяли. А один — Хаустов — отказался. В каждом классе есть такой... неуправляемый. Андрей пригрозил Хаустову двойкой за четверть, но тот не испугался:

— У вас, Андрей Андреевич, тоже план, — и еще съехидничал: — Я бы, знаете, с удовольствием, но вдруг комиссия про это узнает?

До пререканий Андрей, конечно, не опустился: выпроводил Хаустова, взял его тетрадь из общей стопки, положил себе в стол, а в журнале против его фамилии поставил «н». Всего-то и делов...

Хаустов этот, конечно, в принципе прав, но стал бы он на его, Андрея, место. Андрей первый год после института тоже пробовал возражать, но идти не в ногу со всеми оказалось делом некрасивым и трудным. К тому же коллеги его были не злодеями какими-то, не жуликами — они были вполне симпатичные люди, а что касается очковтирательства, так ведь не они же его придумали! В общем, научился и Андрей встречать комиссию и выполнять план. Встал, так сказать, в общую колею.

Но сейчас думать об этом было неприятно. Андрей перевернулся на живот, ткнулся подбородком о кулак: подумаем лучше о главном. Об интересе. Женщины? Посмотрим

правде-матушке в глаза — Дон-Жуан из меня не получится. Значит, отпадает. Может, коллекционированием заняться? Не ново, конечно, но хоть что-то... Собрать надо что-нибудь этакое, значительное, до чего еще никто не додумался. Андрей стал перебирать в памяти вещи, которые могли бы стать предметом коллекционирования, но оказалось, что все интересное уже разобрано. Разве что — утюги.

А может, в ОБХСС податься? Чтобы всех этих дачников — к ногтю.

Сосед за стенкой опять зачиркал спичкой. Андрей соскочил с кровати, тоже закурил.

Посидел — на душе было сумбурно, невнятно. Натянул трико и пошел к соседу.

— Не спишь, дядь Мить?

— Не, — помедлив, мигнул сосед огоньком папиросы.

— Мне тоже что-то... Может, в дурачка скинемся?

Дядя Митя скрипнул кроватью:

— Ну, включай свет, что ли...

г. Новокузнецк



Борис Климычев



НОЧЬ НА ЗАИМКЕ

Кошки мяучат в сумрак сырой.
Так пахнет травой и сосновой корой!
А вон — сараюшка и лестница есть.
Эх, жить бы и спать бы все лето мне здесь!
Остаться. Шататься в ночи среди звезд.
И слушать, где сплюшка, кукушка и дрозд.
Остаться. Ходить к полуночной реке.
И в мире остаться... хоть рифмой в строке,
Хотя бы росинкой в лугах на цветке,
Хотя бы пылинкой на башмаке.
Останусь вот здесь, на заимке, и мы
У вечности выпросим с годик взаймы.
Ведь бабка Агапка и дедка Егор,
Хотя и скрипят, но живут до сих пор.
Уха закипает у них в котелке,
И бабка купает огурчик в реке.
Калитка. Улитка ползет в лопухе,
Хмельного напитка достали к ухе.
И небо швырнуло звезду в котелок.
У деда на плечи лишь седенький клок.
Он еле живой, но пытается спеть,
И небо шатается. Хочется спать.
Мне видится, будто бы дед мой — не дед,
А королевич семнадцати лет.
Принцесса — Агапка, сметана лицом,
Ему говорит: «Закуси огурцом!..»
Волшебник я, времени стрелки кручу,
Его поверну я, куда захочу!
Но слышу, тайга восклицает: «Ага!
Бабка Агапка — принцесса? Карга!
Заимка? Заминка. Канючишь заем?
Свое проворонил — взаймы не даем!»

* * *

Когда в саду играли где-то скерцо,
Дождинки падали в ладоши тополей,
Я ощутил: я весь — большое сердце.
Мне стало страшно посреди аллей.
Куда пойду, пульсирующий, нежный?
Толкнут зонтом, о ветку уколюсь,
А вдруг я в небо, в океан безбрежный,
Как в женщину, нечаянно влюблюсь?
И вообще. Ведь что это такое?
Нельзя ни на трамвае, ни в такси.
В квартире собственной не будет мне покоя.
Я сердце. Весь. О, господи, спаси!
Ни сесть, ни лечь. И каждую пылинку,
И каждый взгляд я чувствую собой...
А дождь украсил пятнами тропинку,
И гром пугал неистовой пальбой.
Я думал звать врача, бежать в аптеку.
Но вдруг я снова стал таким, как все.
Могу пожать я руку человеку,
Могу босой промчаться по росе.
И просто так, как все, воспринимаю
Хвалу, хулу и ханжество и лесть.
Но все же помню, что когда-то в мае
Я сердцем был... пульсирующим... весь...





ПРАЗДНИК НА ДВОИХ

Рассказ

Левушкин шел по жаркой, безлюдной улице. Горячий тротуар обволакивал душным теплом перегретого асфальта, сумка с шампанским оттягивала руку, и открытая улица казалась бесконечной и бесприютной.

Левушкин дошел до городского парка, отыскал скамейку в тени и сел, положив рядом сумку. Головка бутылки высунулась, матово блестя фольгой. Левушкин погладил ее пальцами и спрятал. Праздник не получался.

А начинался день хорошо. С утра опробовали сделанное Левушкиным приспособление для токарного станка. Левушкин специально выбрал воскресенье, чтобы в цехе никого не было, и, когда шел по пустому пролету, шаги раздавались гулко и торжественно. Кроме него должны были прийти только мастер Владимир Иванович Крутков, молодой специалист, помогавший Левушкину составить чертежи, и токарь Серега Малахов, безотказный парень, когда дело касалось «левой» работы.

Пришел Серега, звонко хлопнул по ладони Левушкина пятерней и потряс роскошно взлохмаченной головой:

— Перебрал вчера, — и засмеялся, глядя на Левушкина, — волнуешься, изобретатель. Сам Серега никогда не волновался.

Мастер появился, когда Левушкин докуривал третью папиросу, уверенно прошел по пролету, покачивая на ходу широкими плечами спортсмена. На его свежем лице сквозь легкий загар приятно проступал румянец. Увидев Левушкина и Малахова, он деловито кивнул и заторопился:

— Ну, начали. К двенадцати надо успеть. И пояснил:

— Первенство завода по ГТО.

Малахов ухмыльнулся и включил станок. Остро запахло жженой стружкой.

Когда три детали были готовы, Владимир Иванович остановил Малахова:

— Достаточно, — и одобрительно повернулся к Левушкину. — Хорошо, Митя, ни одного сбоя. Завтра покажем главному, и можешь оформлять в БРИЗе.

— Митька слесарь что надо, — поддакнул Серега, — про уговорчик наш забыли? Пока вы там оформляете, то да се, эта штуковина на моем станке постоит. Глядишь, и ударником стану, а?

Посмеялись.

— Сейчас еще обмыть, цены бы твоему изобретению не было, — Серега с надеждой посмотрел на Левушкина: догадался взять или нет. Левушкин курил, радостно оживленный успехом.

— Ага, — встрепенулся он, услышав Серегины слова, — чуть не забыл. Сейчас принесу. — И убежал в мастерскую.

— У тебя, Малахов, одна забота, — немного раздраженно сказал Владимир Иванович, ему пора было идти, а дело, похоже, затягивалось.

Серега, не отвечая, прибирал станок. Для него день складывался удачно.

Левушкин вернулся с полотняной сумкой, округло оттянутой изнутри, и вынул из нее...

бутылку шампанского. Серега от неожиданности заморгал белесыми ресницами.

— Вот, — слегка запыхавшись, сказал Левушкин, — давайте отметим немного.

— Ну, учудил, — захохотал Серега, — водки ты не мог взять?

— Нет, — серьезно ответил Левушкин, — первое же изобретение. Шампанским надо. Я в кино видел.

— Так шампанское-то разбивают, дурья твою голову, — закричал Серега, — и не об такую штучку, а об корабль, например! Разобьют одну бутылку, а после идут остальные давить. В кино этого, конечно, не показывают.

— Ну, так как, Владимир Иванович? — вернулся от него Левушкин.

— Не могу, Митя, — мастер извиняюще развел руками, — ребята уже ждут, наверно. Да и запах... Может, в другой раз?

— Сегодня надо, — грустно сказал Левушкин, — после уже не то будет.

— Ты бы хоть предупредил, — мастер постоял еще, потом, чувствуя неловкость, бодро похлопал Левушкина по плечу и пошел к выходу.

Малахов проводил его взглядом и, сочувствуя Левушкину, ехидно сказал:

— Спортсмен. Слушай, Мить, плюнь, поехали на пляж, там сегодня вино достать можно. Этой же газировкой только душу травить, сам понимаешь.

— Нет, — сказал Левушкин, — я ведь так, ради случая хотел.

— Тогда дай трояк.

Малахов взял деньги и тоже ушел.

Левушкин вернулся в мастерскую, сел, закурил. Нарядная, как новобрачная, бутылка стояла на столе и требовала к себе внимания. Ее надо было распечатать, празднично хлопнув пробкой, наполнить веселой кипенью бокалы и выпить за год трудов, за успешное испытание, да просто за воскресенье.

«Пойду к Зое» — решил Левушкин.

С Зоей они учились в одном классе и даже дружили немного, но в любовь это не переросло, и после школы они долго не виделись, пока однажды, встретив ее на улице, Левушкин не узнал, что она была замужем и у нее дочь.

Зоя похудела, подтянулась, но строже не сделалась и, приглашая Левушкина в гости, весело предупредила:

— Только не делай мне предложения, не приму.

И, видя его недоумение, объяснила:

— Хочу одна пожить. Прежним мужем сыта по горло.

Левушкин согласился с ней и никогда не жалел об этом.

Зою он встретил в подъезде ее дома. Она сбежала по лестнице, размахивая красной спортивной сумкой, похожая на подростка, улизнувшего от надоедливых обязанностей. У нее было прекрасное настроение, и, увидев Левушкина, она засмеялась.

— Ты ко мне?

Левушкин кивнул, улыбаясь.

— А я на пляж собралась. Такое солнце сегодня!

— А ты не можешь отменить его?

— Что, солнце? — она снова засмеялась. — Да нет, Митя, меня пригласили.

Она мило смутилась, так, чтобы он понял, что ее пригласил. Левушкин понял.

— Я, собственно, так зашел, — сказал он, чувствуя, что улыбка у него получается неважная, — просто шел мимо.

— Ты потом приходи, ладно, Мить?

— Беги, беги, — отпустил ее Левушкин.

— Чао, — и, одарив его улыбкой, она выпорхнула в дверь...

В парке играла музыка. Левушкин курил, наблюдая, как шевелятся на дорожке узорчатые тени, похожие на томных, бледно-желтых бабочек, слушал... Музыка неожиданно оборвалась, и громкий женский голос объявил: «Товарищи отдыхающие! Через пять минут в летнем кинотеатре начнется показ кинофильма «Раба любви». Билеты продаются в кассе кинотеатра». На секунду голос умолк, затем повторил все снова.

Левушкин посмотрел на часы: без пяти двенадцать. «Сходить, что ли? Все равно делать нечего».

Он встал, взял сумку и тут услышал из дальнего конца аллеи возбужденное, мужское:

«Да не беги ты...» и как точка, смачное, непечатное слово.

По дорожке в его сторону быстро и как-то по-птичь, вприпрыжку, шла маленькая, словно помятая женщина, а за ней широко шагал длинный парень с жидкими усами на коричневом лице и, наклоняясь, пытался поймать ее за плечо. Она молча, без криков, выскальзывала и часто крутила по сторонам головой, словно выискивая кого.

Левушкин внутренне напрягся. И на всякий случай оценил длинного: не противник. Драться Левушкину случалось редко, но если уж случалось, за себя постоять он мог. Это он с виду неказист был, а ребята в цехе знали, что он один мог двигатель в сто килограммов утащить. Жилы у него были крепкие, рабочие.

Наконец длинный догнал женщину, ухватив за локоть, но она снова вывернулась, подбежала к Левушкину и, едва переводя дыхание, с жалкой улыбкой сказала громко, чтобы тот слышал:

— Извини, милый, я опоздала.

Этого ей показалось мало, и она чмокнула Левушкина в щеку. Левушкин опешил, а парень приостановился и свел брови.

«Сейчас что-то будет», — подумал Левушкин, чувствуя внутри легкое жжение и оживление одновременно. В такие моменты он всегда оживлялся.

— А я думал, ты не придешь, — сказал он, поворачиваясь к женщине так, чтобы и усатого видно было. Усатый пренебрежительно осмотрел его и процедил:

— Ну, гляди, девочка, не пожалей, — развалистой походкой двинулся к выходу.

Левушкин дождался, когда он уйдет, и сел, доставая папиросы. Она тут же вынула из жакетки спички и зажгла. Левушкин глубоко затянулся и взглянул на нее. Она сидела на него, словно ждала, что он скажет. Вблизи она выглядела гораздо моложе, года 22—23, не больше. Старила ее одежда. Под синей жакеткой на ней была розовая блузка с тесемочками на шее, как на мужских нижних рубашках. И брюки были тоже как муж-

ские, широкие. Что-то было в ней схожее с тем, усатым.

— Жарко сегодня, — улыбнулся Левушкин, не хотелось, чтобы она так смотрела.

— Ага, — она расслабленно опустила плечи, — жарко.

— Знакомый твой?

Она вздрогнула, кинула на него настороженный взгляд, он внешне безучастно разминал папиросу, и она нехотя ответила:

— Так. Были знакомы когда-то. Все забыть не может.

— А что ему нужно было?

— Не знаешь, зачем клеются? Попользоваться хотел, — хмуро и вместе с тем деловито объяснила она.

— Чем? — не понял Левушкин.

— Да нет, — она усмехнулась, — это я так. Я посижу с тобой, боюсь, он ждет где-нибудь.

— Посиди, — согласился Левушкин. Он все еще не мог понять ее.

Она снова замерла, сгорбясь и сжав коленями сцепленные руки, словно было холодно и она старалась сохранить в себе тепло. Так сидят зимой у костра. Молчание затянулось, и Левушкин решил прервать его.

— А как тебя звать? — он старался, чтобы в голосе не было особого любопытства.

— Вера. А что?

— Да нехорошо как-то, разговариваем без имен, как враги. Меня Митя, Дмитрий.

Она глубоко вздохнула.

— Теперь узнал? Дай-ка папиросу, — она неловко, по-женски, чиркнула спичкой, сломала, достала новую и, прикурив, прищурилась:

— Ты что, правда, такой добрый или прикидываешься?

Левушкин опешил.

— Что, не нравится? — она неожиданно рассмеялась, длинно и заливисто. — Так-то с вопросами приставай.

Странное дело. Глаза ее, недавно серые, туманные, поглубели ясными кристалликами и даже осветились слегка.

И Левушкин, не успев подумать, сказал:

— А глаза у тебя красивые.

— А ноги?— она еще смеялась, но лицо ее напряглось, и глаза снова посерели, как льдом затянулись. И оборвав смех, спросила с нарочитой развязностью:

— Что мне теперь, с тобой идти?

Тут Левушкин все понял. И не поверил. Зачем же она тогда от длинного убегала?

А ей словно мало было.

— Что молчишь? Я могу. Надо же рассчитаться с тобой.

Но в глазах уже не лед был, презрение. Он сильно взял ее за плечи и встряхнул:

— Замолчи!

Она дернулась, но стерпела.

— А что? Ты же...

Он еще встряхнул ее, чувствуя в себе злость, и она не выдержала, сморщилась.

— Пусти! Руки-то как клещи. Теперь синяки будут.

Левушкин закурил и откинулся на спинку скамьи. Посидел, успокоился.

— Денек выдался. Сидел бы сейчас в кино, в ус не дул.

— Ну и сидел бы,— вспыхнула она,— я не просила выручать меня!

— Вот те на! А кто просил?

— А ты выручил и уже жалеешь?

«Ну и характер,— подумал Левушкин,— достанется кому-то жена».

— Ладно, давай прощаться,— сказал он, вставая,— а то еще бог знает до чего договоримся.

— Куда ты?— испугалась она и потянула его за рукав.— Посиди еще. Ну, дура я, не знаю, что говорю,— в словах ее пробилося отчаяние,— я всегда так, вначале говорю, а потом думаю,— и уже тихо, извиняюще:— Сразу-то как узнаешь? Все так начинают: какие у тебя глаза красивые, а потом...— голос ее задрожал.

— Знаешь,— без всякого перехода сказал Левушкин,— а у меня сегодня праздник. Даже шампанское взял, а отметить не с кем.

Она отозвалась не сразу.

— Какой праздник, день рождения?

— Нет, изобретение сделал. Проверяли сегодня, работает.

— Ты изобретатель?

— Так еще рано говорить. Просто придумал

мал к токарному станку одно приспособление. Понимаешь,— она, не отрываясь, смотрела на него, и он загорелся, чувствуя заинтересованного слушателя,— раньше вал точили за пятьдесят минут, а сейчас можно за сорок. Чувствуешь выгоду?

Она кивнула, не совсем понимая, и Левушкин уловил это.

— Ну, ладно. Главное, польза есть. Хотел отметить сегодня, да не с кем.

— Если хочешь,— неуверенно предложила она,— пойдем к нам в общежитие. Девчонки по домам разъехались, никого нет.

Глаза ее снова заголубели. Просто хамелеоны какие-то были, а не глаза.

В общежитии Вера оживилась. Она заставила Левушкина смотреть в окно и, когда разрешила обернуться, была уже в голубом мохнатом халате с крупными красными яблоками. Узкий халат ровно вытянул ее, сделал стройнее, и даже лицо ее изменилось, потеплело от подступившего румянца.

— Нравится?— она стояла вполоборота к Левушкину, кокетливо приподняв плечо.

Левушкин молчал, пораженный переменой. Она засмеялась, потрепала его по голове, сунула несколько журналов:

— Посмотри пока. А я поставлю картошку жарить.

Она убежала. Левушкин положил журналы на стол и зашагал по комнате, от двери к окну. Ну и женщины: опутают, и не заметишь.

Вера принесла тарелку с порезанным огурцом.

— Смотри, что мне девчонки дали. Я в этом году еще не ела огурцы, а ты?

— Я тоже. Только зачем это?

— Сиди,— строго сказала она,— отмечать так отмечать. Читай журналы.

Она уже командовать начинала. Но странное дело, Левушкину это тоже нравилось.

Наконец сели. Левушкин разлил шампанское и хотел произнести тост.

— Дай я скажу,— остановила его Вера, оживленно блестя глазами.— Выпьем за хороших людей.

Она с удовольствием отпила и облизнула губы.

— Иногда так хочется в ресторане посидеть, чтобы шампанское было, музыка, люди красивые танцевали. Ты любишь в ресторанах ходить?

— Не знаю, — ответил Левушкин, — я там раз всего был.

— А я люблю. В каких я ресторанах была!.. Ну, да что вспоминать, давай еще выпьем. Ты ешь картошку, пока не остыла. Я только картошку умею жарить, больше ничего. Научусь еще, — беспечно махнула она рукой. — Хочешь, я тебя поцелую?

— Так быстро? — глупо спросил Левушкин.

— Разве это быстро? Ну, не хмурься, не буду. Сама не знаю, что со мной. Хорошо и все. А там пусть хоть что будет. Видишь, я какая. Учили меня, учили уму-разуму, да, видно, не научили. И-эх, — протяжно вздохнула она, — глупые мы иногда бываем. Жалею потом, да поздно. Ты что молчишь?

— Слушаю.

— Ну, слушай. Сейчас я тебе такого наговорю, только запоминай, — весело-зловещим шепотом пообещала она, но не успела ничего сказать.

Дверь открылась, и вошла высокая, тонко перетянутая в талии, с красными, малиновой ягодкой губами, глазами, синей тенью увеличенными... Картинка из журнала вошла в комнату. И еще от порога швырнула на койку сумочку, рассержена чем-то была. Вера замолчала и сникла как-то, а картинка, разглядев застолье и мужчину, каменно сжала губы. На секунду повисло молчание, потом Вера суетливо выскочила из-за стола и быстро заговорила:

— Садись с нами, Галя. Познакомься, это Митя. Митя станок избрал. И он меня выручил сегодня.

— Ты, Верка, не егози, — повела рукой Галя. И длинные острые ногти вишнево блеснули в воздухе: — Я смотрю, ты опять...

— Галя, выйдем на минутку, — умоляюще посмотрела на нее Вера.

— Зачем? Пусть твой друг послушает, ему полезно будет.

— Галя! — почти простонала Вера.

— Что Галя? Хочешь красивой быть, за-

веди себе свой халат. Мне надоело стирать после тебя. Еще неизвестно, кто к тебе ходит.

Вера нервно дергала пуговицы, повторяя: «На, на, заberi».

Левушкин встал. Так его еще не оскорбляли.

— Зачем вы так? — с горечью спросил он Галя.

— Не нравится?! А мне нравятся ваши, — она запнулась, подыскивая слово, — вечные пьянки?

— Какая же это пьянка? — Левушкин почему-то не мог ни рассердиться, ни обидеться, только недоумевал, — мы же шампанское пили.

— А потом водочку, потом еще чего! В общем, все, я эту лавочку прикрою! Сейчас к дежурной пойду!

Она сильно хлопнула дверью.

Левушкин повернулся к Вере. Она стояла, съезжившись, бессильно опустив руки. Левушкин машинально достал папиросы, закурил, хотел спросить... Она молча ждала, словно подтверждая то, во что Левушкин не хотел верить. И он пошел к двери.

Догнала его Вера на крыльце. Она снова была в жакетке и брюках. Сквозь отвороты жакета проглядывало светлое тело, и Вера, стянув их одной рукой, другой поймала его ладонь и сжала ее горячими жесткими пальцами. Заглянула снизу в глаза.

— Митя, ты поверил ей?

Левушкин молчал.

— Не было у меня никого, Митя! Давно уже не было. Просто она завидует всем, у кого парни. Она такая красивая и одна, — она затрясла его руку: — Митя, ну скажи что-нибудь!

Левушкин курил, глядя поверх ее головы.

— Господи, что же я такая невезучая, — тоскливо обронила Вера.

Мимо пробежала девушка, стрельнула глазами в Левушкина и уже в дверях, обернувшись, понимающе осмотрела их.

Вера ту же стянула ворот жакетки, губы ее неуверенно дрогнули.

— Ну, что же. До свидания, Митя.

И не отпускала, ждала. Он бросил окурок.

— Поехали ко мне...

Утром Левушкин проснулся рано, еще радио не говорило. Вера тихо дышала рядом. Левушкин приподнялся на локте и долго смотрел на нее. Она, не просыпаясь, повернулась и, протянув руки, обняла его. Левушкин осторожно прилег, нашарил на полу папиросы, спички и закурил. Вера с трудом разлепила ресницы и медленно-медленно улыбнулась, еще не проснувшись до конца.

— Ми-итя-я,— она провела теплой ладонью по его лицу,— Ми-итя-я.

г. Новокузнецк

Левушкин прикрыл ей глаза.

— Ты спи, спи, рано еще.

Она послушно повернулась на бок и снова заснула. Только улыбка осталась на губах.

И все. Левушкин докурил и встал. В его комнате спала женщина, за которую он был теперь в ответе. Он достал из шкафа свою рубаху, положил рядом с кроватью, чтобы Вера, проснувшись, могла видеть ее, и пошел на кухню заваривать чай.

ЛИРИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ



Очень сложным и на редкость многогранным бывает иногда мир человеческих увлечений. Когда я впервые оказался в гостях у Тамары Евгеньевны Калининой, ее квартира показалась мне чем-то средним между музеем и библиотекой. Огромная коллекция причудливых камней и не менее причудливых раковин была собрана ею едва ли не со всех концов света. И коллекция эта не мертва: с каждым экспонатом связано определенное, иногда очень яркое, воспоминание.

И, конечно, книги, тоже самые разные. Альбомы и монографии по искусству. Много стихов, среди них есть редкие издания.

Книги другого порядка — научные труды — в кажущемся беспорядке разбросаны по комнате. Одни из них распахнуты, из других торчат закладки. Здесь же рукописи, над которыми, видимо, только что работали: Тамара Евгеньевна — ученый, доктор биологических наук, преподаватель Кемеровского медицинского института.

Потом я узнал, что она — художник. Состоялось уже две (или еще две?) ее персональные выставки, и отзывы зрителей были самые доброжелательные. Ее рисунки выразительны и элегантны. Она любит рисовать цветы и травы, создавая как бы индивидуальные портреты цветов, и в каждом рисунке нетрудно угадать определенное состояние человека: радость, страх, надежду, тревогу, отчаяние.

Все это — и живопись, и коллекция, и книги, и многочисленные живые цветы, и богатая со вкусом подобранная фонотека — требует умения, энергии, времени. А ведь главное для Тамары Евгеньевны преподавательская и исследовательская работа, которой она отдается со страстью подлинного ученого.

Сегодня мы предлагаем читателям несколько поэтических миниатюр Т. Е. Калининой. Редколлегией альманаха они были приняты неоднозначно: в них заметно влияние японских танка и хокку, хотя форма их более раскована, не ограничена обязательным для японских поэтов количеством слогов и строк. И тем не менее автору нельзя отказать в искренности, наблюдательности и еще в одном важном для поэта качестве — ранимости души, нередко натыкающейся на острые углы жизни.

Заканчивая это короткое вступление, хочу сказать, что при всей широкой палитре своих интересов и увлечений Тамара Евгеньевна кажется мне на редкость цельным и гармонически развитым человеком, где одно не только не мешает другому, а как бы дополняет и помогает ему.

Игорь Киселев

Тамара Калинина

* * *

Вся жизнь моя — сплошное ожиданье:
Вот-вот, и кто-то постучит в окно.
Но... голова седа, а стук —
в соседнее окошко...

* * *

Рожденья день... Звонок. Рассыльный.
Тюльпаны и гвоздики. Кто?
Никто не знает: Я! Сама. Себе.

* * *

Щека к щеке...
И легкое касанье нежных губ...
Ты помнишь ли?
Солги!

* * *

Рисует внучка домик...
Какой покой в душе,
Какая тишина!

* * *

Нечаянной улыбкой стерла
Недетскую тоску с лица полурейбенка.
Прильнув к трамвайному окну
безлунной ночью,
Рукой мне долго машет благодарно
Случайный пассажир.

* * *

Не пишешь.
Любим сомненьям
Ты открываешь двери.
И с каждым днем
Их закрывать
Становится труднее.

* * *

Ты каждый день приходишь сотни раз,
И каждое прощанье — как впервые...
Но ты
придешь еще?

* * *

Под солнцем золотятся пряди снега.
Лилковый от мороза куст
роняет семена —
Синицам радость.
Искрится воздух от снежинок...
Дышать и петь!
Сегодня — первый зимний день!

* * *

Сломала буря дуб,
но корни сохранила.
А на единственной зеленой ветке
Свистят скворцы.
Скворчата просят есть.

* * *

Не то еще не рассвело,
Не то уже закатилось...
Не разглядеть души твоей никак.

Виктор Старостин

БАЛЁЛЯ

Зимы были долгими, холодными. По ночам за вторым логом выли волки. И в трескучий мороз и в метели мне становилось жутко даже в избе.

Как только тусклое зимнее солнце торопливо скатывалось за дальние сугробы и день убегал вслед за ним, в ту сторону, куда уходили все поезда, жизнь в нашем поселке замирала. Вся улица, протянувшаяся по косогору далеко-далеко, терялась в морозном тумане. Мы защелкивали сенные двери на деревянные замки — такие придумали вятские умельцы — и сидели у жарко натопленной печи. Керосиновые лампы жирно чадили фитилями, и пламя лениво перегибалось из стороны в сторону. Тени бегали по потолку, а на чувале, на стене возле печи мельтешили красные всполохи. Плита у печи треснула, и теперь пламя топки всегда прыгало по белой извести. В это время жалобно взывал чайник на раскрасневшей плите, и в голове рождались фантастические образы, в глазах вставали всевозможные картины...

Вечера были долгими. Одиночество и утомительная тишина, казалось, никогда не кончатся. Мне приходилось много сидеть дома: валенки отдали подшивать, а у сапожника дяди Сережи Сенчилова, что жил за первым логом, до них не доходили руки. У него и без того было работы много...

Теперь про валенки поют веселые частушки, а мне бывает грустно при упоминании о них. За день сколько раз прилипнешь лицом к замерзшему, закуржавшему стеклу, чтобы разглядеть в узкую проталину у самой рамы, кто приезжает там на конях, скрипит

полозьями по гулкому морозу. А это колхозники из Бедарей да из Исашина приехали на шахту за углем. Идут усталые коняжки друг за другом, и поводки у них привязаны к передним саням...

А если неожиданно откроется дверь и сквозь белесый кучевой мороз в избу протиснется человек, то для меня это большая радость. Такая же большая, редкая, как мятный пряник.

Ба-а, да это же приехал из Пестерей к соседям родственник — наивный и простой колхозничек шестнадцати лет от роду, весь из себя веселый, разговорчивый, хозяйственный. Соседей нет дома, и он дождется их у нас, расскажет, как добрался на своей лошадке, как живет родная мама...

И я силюсь представить себе не так высокие, но длинные Караканские горы, которые он упоминает в разговоре. Они где-то далеко-далеко, в тридцати километрах...

Потом он уходит. А там и бедаревские возвращаются домой.

Я провожал их сквозь оттаявшее стеклышко, и мне было невыносимо страшно за колхозников. Наверно, я бы не поехал в эту пору...

Поздней-поздней ночью, часов в одиннадцать, когда мы уже спим, в окно стучатся. Мама открывает дверь, а там Антон Захаров, друг нашего Ваньки. Он ходил в наш клуб на танцы. Живет Захаров на займке, которая стоит аж за вторым логом... От его рассказа мы испытываем страх: за этими логами — волки. Они смотрели на него зелеными глазами из березняка, и Антон вернулся, не

пошел домой. Он ложится с нами спать, а как наступит день, уйдет домой.

Но бывали у меня и правдашние праздники.

Жила в ту пору по соседству с нами девочка. Такая пухленькая, с синенькими глазами, с короткими мальчишескими волосами. Папа с мамой здорово ее любили. Они называли девочку какими-то мудреными и непонятными словами. А сама она однажды сказала, что ее зовут Балёля. Смешная очень. Один раз, когда мы были с бабушкой у них в гостях, — а это-то и было праздником — Балёля взяла в руки новую зелененькую маечку и спрашивает:

— Мама, мама, это я куда пойду в ней, в гости?

— В гости, — отвечает мама, и все взрослые легко, от всей души смеются.

Когда мы сели пить чай и ее папа угостил нас «финтиклюшками» из города, Балёля спросила:

— Кто это?

— Ромовая баба...

— Ой, какая у нее шляпка! И сопли текут... — сказала она.

Балёля была смелой, терпеливой девочкой. Она часто падала и никогда не плакала. А бегала отчаянно. Валилась на живот, как сноп, и тут же подымалась.

— Сумачесная какая! — говорила про себя.

Завидев меня издали, кричала на всю улицу:

— Ё-ё-га! Ди ко мне... А каленки...

Это чтобы я ее подержал на руках.

Бывало, выбежим за огороды, и тут она первая:

— Мама! Глып!.. Глып!.. Челевили...

Часто Балёля играла сама с собой, не обращая внимания на других. Видимо, она погружалась в мир своих мечтаний. И, приходя в восторг от собственных видений, ярко расцветала. В эти минуты вырывалось у нее непонятное слово:

— Акалютики!..

Никто не знал, что это значит. Даже ее папа с мамой...

И вот в один из зимних вечеров я вспоминал о ней и тосковал. Потому что Балёля —

как лето: в ней что-то солнечное, радостное, ласковое. А у меня в окошке поднималась луна... Мне стало вдруг невыносимо жалко, а кого — и сам не знаю.

Хоть и подшил наконец дядя Сережа мои валенки, а идти некуда... И я, стоя у окна, стал ждать Балёлю. Уже лоб мой, прислоненный к раме, начал замерзать, а я смотрел на желтую луну, на сказочный и жутковатый мир и думал о Балёле. И вдруг: тук-тук по нижнему стеклу. Я вздрогнул, но тут же стал просовывать удобнее голову между рамными переплетами — и так и этак, и приседаю, и поднимаюсь на цыпочки, выискивая самые наилучшие проталины в окне, чтобы разглядеть, кто там. Кое-как я нашел светлую щелку и увидел Балёлю. Она махала мне рукой.

Со мной происходило что-то небывалое.

Я долго не мог разыскать свое пальто со страшным воротником из какого-то полысевшего хищника. Обычно бабушка клала его под голову, но сейчас и там не было. Что делать, а? Я метался по избе, озираясь и боясь разбудить бабушку. А Балёля в любой миг могла уйти. Я уже пришел в отчаянье, когда случайно, посмотрев на вешалку, увидел пальто там...

Балёля поджидала у ворот.

— Пойдем за вторые лога, — сказала она тихо, чтобы никто нас не услышал, — я хочу посмотреть зеленые огоньки этих злющих хищников...

— По-пой-дем, — согласился я.

Балёля, захватив мою руку под мышку, устремилась вперед.

Когда еду, я мечтаю,

А когда иду, то думаю...

прочитала она свое собственное открытие в стихах.

Я боязливо оглянулся, ожидая чуда... Ведь у нас летом был неплохой отряд. Ванька Левко принес из дома медный таз с дырками боками и бил пестиком по дну. Он был у нас главным барабанщиком. Ленька Берд нашел в своей кладовке крышку от цинкового бачка, и она служила нам щитом. Хорошо бы вот сейчас всем вместе...

Мне было страшновато, но я крепился. Ведь со мной Балёля, которая часто падала и никогда не плакала.

Когда еду, я мечтаю,
А когда иду, то думаю —

повторяла она.

Мы пришли ко второму логу, встали на краю и начали просматривать березник, залитые лунным светом снежные равнины. Но не было нигде зеленых огоньков «проклятых хищников».

— Акалютики!

— Что ты сказала? — спрашиваю.

— Акалютики... Вечно врет Антон Захаров.

Мне было стыдно за свой страх, который я почувствовал у ворот своего дома, и я стал злиться на Антона.

— Но ты не переживай, — сказала мне Балёля, — зато теперь мы знаем с тобой всё...

Мы повернулись и пошли в поселок, который спал морозным, крепким сном. Было тихо и немного сумрачно. Балёля сочинила на прощанье:

А луна за дальним пряслом
На глазах совсем погасла...

С тех пор прошло немало времени.

И всякий раз, когда я приезжаю сюда летом, я иду за те лога собрать букет цветов (а когда идешь, ты в самом деле «думаешь»...)

Не знаю, где сейчас Балёля, как сложилась ее жизнь. Но я все время помню ту весну, когда принес ей целую охапку светлосиних колокольчиков. Она до слез обрадовалась:

— Какая прелесть — колокольчики... как я люблю! Ты самый милый мальчик, Ё-га... И если вздумаешь еще раз дарить мне цветы... Ты только их бери по одному. Сорвешь цветочек — вспоминай меня, сорвешь — и вспоминай...

Теперь я так и делаю...

Афанасий Гуковский

ПОГОНЯ

Спуск в Сатанинский лог крутой, дорогу после дождей развезло. Карька, задрав голову, отчаянно упирается на все четыре, однако же ноги его безнадежно скользят, расползаются в стороны, хомут сдвинулся до самых ушей. Легкий ходок на мягких рессорах швыряет на ухабах из стороны в сторону, как лодчонку на волнах, того и гляди — опрокинет.

Перемахнув низину лога, Карька с ходу пошел в гору крупной рысью. Ложбиной выклинивается лес к самой дороге, веет оттуда густым настоем хвои и скошенных недавно, подсыхающих трав...

— Благодать-то какая в лесу! Придержи Карьку, Антоша!

Ульяне — за двадцать. Круглолицая, полнотелая девушка с черными, озорными глазами, она крепко прижалась к Антону. Лицо Антона зарделось, на лбу выступили капельки пота — жарко вдруг стало ему. Выглядит он старше своих шестнадцати лет, рослый и плечистый парень.

О поведении Ульяны судачат на селе. Антон считает, что зря говорить не будут. О других же девчонках не сплетничают...

— В этом Сатанинском логу, — заметил он рассудительно, — завсегда лиходеи разные шастают... Подстерегают, кто с деньгами там...

— Лиходе-еи! — передразнила Ульяна. — У бабки нашей, поди, нахватался словечек?

Отодвинулась малость Ульяна, юбку на коленях поправила. В райцентре получила она деньги для колхоза — Ульяна работала кассиром. Под заднее сиденье ходка натолкали они с Антоном соломы, положили туда сумку с деньгами и соломой же накрыли — от недобрых глаз и загребущих рук подальше. Дорога-то дальняя, мало ли что...

Ульяна оглянулась и побледнела вдруг. Негромко, словно боясь, что ее услышат, проговорила тревожной скороговоркой:

— Гони, Антоша, погоняй!

— То придержи, то гони... — недовольно проворчал Антон и тоже оглянулся.

Он увидел: низкорослая рыжая лошаденка с лысиной во всю морду тащит нагруженную мешками телегу. На мешках сидит бородатый мужик с копной черных волос на непокрытой голове. Антон знает: у них в Терновке он не живет. «Да и откуда он взялся? — забеспокоился Антон. — Вроде и не ехал...»

Дергая вожжи, Антон зачмокал губами.

— Но-о, Карька! Ише-ел!

Ходок запрыгал на ухабах, затарахтел. Ульяна и Антон разом оглянулись. Мужик яростно нахлестывал лошаденку, махал рукой, кричал что-то, но за скрипом и тархтением ходка голос мужика доносился прерывисто: бе-бе-бе! бу-бу-бу! Ничего не разберешь!

Ульяна выхватила из рук парня вожжи, таловый прут, стала нещадно хлестать мерина, приговаривая:

— Но-о, ушастый, шевелись!

А Антон потянулся к передку ходка, достал топор, отточенный до блеска, у ног положил его: «Пусть только сунется!» И снова оглянулся.

Лысая лошаденка скакала галопом. Расстояние сокращалось. У Антона во рту пересохло. Рука непроизвольно нащупала черенок топора. «Видно, про деньги узнал мужик, — лихорадочно размышлял Антон. — Ишь паразит, погоняет... Вон какой страхолюдный...»

— Давай, гони, скорее, скорее! — торопил он Ульяну.

Долго длилась гонка. Взмывенный мерин сбавлял ход. И вот уж, кажется, настигает бородатый... Но, к счастью, на лысые череседельник то ли развязался, то ли оборвался. Вверх-вниз запрыгали оглобли и дуга, хлеща хомутом лошаденку по тонкой, длинной шее. И — телега остановилась.

У Антона отлегло малость от сердца, облегченно вздохнул он, повернулся к Ульяне, которая все нахлестывала Карьку прутом.

— Будет тебе! — он взял из рук девушки вожжи, прут. — Начисто запалили Карьку, в мыле весь.

...У правления колхоза остановил Антон разгоряченного коня, шустро выпрыгнул из ходка. Ульяна замешкалась, поправляя козынку, измявшееся в дороге платье. Тем временем подкатил на лысые бородач. Расставив ноги, понутив голову, лошаденка дышала тяжело, с храпом, вся мокрая, на брюхе ключья пены. Бородач спрыгнул с телеги. Мужик широкой кости, саженного роста, он держал в руках сумку и с недобрый смехом пробасил:

— Не ваше ли хозяйство будет?

Ульяна узнала свою сумку. Разрумяневшееся на вольном ветру лицо ее покрылось вдруг белыми и розовыми пятнами, над верхней, чуть вздернутой губой выступили капельки пота. Она словно окаменела: ни с места сдвинуться, ни слова вымолвить. Антон наклонился к ходку, выгреб солому из-под заднего сидения, резко отшатнулся.

— Д-дыра в дн-нище... Потеряли! — метнулся к бородачу, протягивая обе руки.

Но мужик отвел руку, в которой держал сумку, отрицательно покачал головой.

— Не-ет! На такой куш, — демонстративно тряхнул он сумкой, словно пробуя на вес, — на такой куш сыщется много охотников.

Кивнул в сторону конторы, предложил:

— Зайдем-ка в правление колхоза. Для порядка, так сказать.

СОБАЧЬЕ РАСКАЯНИЕ

Пальма, маленькая худющая собачонка, досталась мне, как говорится, неожиданно и нежданно. Весною я купил дачный участок, в семи километрах от нашего села. Там-то и жила постоянно Пальма. Получив деньги за участок, хозяин тотчас уехал, нисколько не позаботясь о судьбе своей собаки.

Я даже не знал, как ее зовут. Вначале мы звали собаку Дурочкой. Уж больно она была худа, нескладна и подхалимски суетлива. К тому же нас удивляла ее жадность к еде, и не столько жадность, сколько — всеядность. Пальма ела все, что попадалось. Однажды она захотела съесть мыло. Красивая бледно-розовая печатка мыла привлекла ее внимание. Выкрав мыло, Пальма унесла его под крыльцо. Проглотив кусок пахучей липкой массы, брезгливо сморщилась, чихнула несколько раз и бросилась к ручью. Там она долго и шумно лакала воду. Потом забралась под крыльцо и принялась жалобно скулить: ну разве не дурочка?

Через месяц Пальму было не узнать. Она поправилась, похорошела. Короткая черная шерсть с подпалинами на ногах и в паху теперь лоснилась от сытости, а белое пятно на груди, стекающее еле заметной полосой с желтых собачьих щек, придало ей франтоватый и задиристый вид. Остромордая головка с короткими стоячими ушками напоминала лисью, и мы, не сговариваясь, стали звать ее Лисичкой.

В ней и действительно что-то было от лисы. Надо видеть, как она умело и ловко охотится на мышей. Семенит бывало за тобой по поляне, внешне безразличная ко всему окружающему. Но вот еле заметно вздрагивают ее мохнатые ушки, и Пальма тут же замирает в картинной стойке. Затем — прыжок! Один... Другой... И в зубах — большая жирная полевка.

Сколько за день она поедала мышей — трудно сказать, но только дома во время

кормежки на нее по-прежнему тяжело было смотреть. Еда гипнотизировала собаку. Она ползла к своей тарелке, скуля и плача, как ополоумевшая, и ни крики, ни угрозы не останавливали ее. Пищу Пальма съедала быстро и жадно, а потом, опьяненная едой, бродила по двору, попутно подбирая то картофельные очистки, то огрызки огурцов.

Настоящее имя собаки мы узнали случайно. Поразмыслив, решили: запас собачьих кличек у прежнего хозяина, безусловно, был невелик. Пять-семь — не больше. Кликнули собаку Дамкой, Жучкой — молчит. Пробовали называть другими — безрезультатно.

— Пальма! — нечаянно вырвалось у меня. Собака при этом встрепенулась, радостно залаяла и запрыгала вокруг нас, будто и впрямь была рада тому, что наконец восстановлена в своих законных собачьих правах.

Как-то в самый разгар лета я бродил по березовым перелескам в поисках грибов. День был солнечный и жаркий. От земли, перегретой полуденным зноем, исходил терпкий и одурманивающий запах. Пахло свежей травой, сыростью и медом. Все мое тело покрылось обильным липким потом, но сбросить с себя одежду или хотя бы расстегнуть ее было нельзя: съедали комары.

Пальма была рядом со мной. Разморенная жарою, собака казалась измученной и жалкой. Хвост ее устало волочился по земле. Дышала она тяжело и часто. Из раскрытой пасти выпадал длинный и узкий язык. Пальма быстро и ловко прятала его обратно, но держала там недолго: пасть тут же распахивалась, и розовая полоска языка повисала вновь. Спасаясь от жары, собака забиралась в дремучие заросли пучек, росших тут в изобилии, но долго посидеть там ей не удавалось: надо было идти за хозяином.

На небольшой лесной полянке я набрел на колонию лисичек. Грибы росли густой ровной строчкой вдоль старой заброшенной

тропинки. Я присел на корточки и начал осторожно срезать их.

— Пинь! Пинь! — вдруг заплакала рядом птичка, и вслед за этим послышались один за другим упругие и хлесткие прыжки собаки.

— Пинь... Пинь... Пинь... Пинь... — надрывалась в плаче птичка, порхая над припавшей к земле собакой.

Я бросился к Пальме, но было уже поздно. Этот всеядный автомат сделал свое дело: сожрал беззащитных птенцов.

— Дрянь! Обжора! — замахнулся я на собаку. Виновато поджав под себя облепленный репейником хвост, Пальма спряталась под куст. Птичка не отставала. Она села на ветку над самой головой собаки и, вздрагивая коротеньким хвостиком, завела бесконечное:

— Пинь... Пинь...

Пальма встала и затрусилась под соседний куст. Птичка за ней. Собака бросилась дальше, птичка — за ней...

— Пинь. Пинь. Пинь. Пинь, — надрывалась пичуга, не давая собаке ни минуты покоя.

Пальма металась по всей поляне, но отделаться от преследования не могла. Крохотная птаха смело и отчаянно наседала на собаку, изводя виновницу монотонным: «Пинь! Пинь!»

п. Крапивино

Алексей Бабанин

МОЙ КРЫЛАТЫЙ ДРУЖОК

Он прилетел один и теперь целыми днями тихо сидел на скворешнике. Видно, в далеком трудном пути на родину что-то случилось с его подругой и она погибла.

Напрасно я ждал его песен — скворец не пел. В течение дня он несколько раз где-то пропадал и неизменно возвращался. Принимался хлопотать по дому, выбрасывал из скворешни старые воробьиные гнезда, ма-

Тогда собака пошла на хитрость. Она усе-
лась на траву перед кустом, на котором сидела птичка, и стала миролюбиво помахивать хвостом, пытаясь тем самым расположить к себе птичку. Но та, прыгая по веткам, продолжала:

— Пинь! Пинь!

Пальма нетерпеливо подпрыгнула на месте, затем звонким заискивающим голосом тавкнула несколько раз, по всей видимости, предлагая обоюдный мир. Но птичка не сдавалась.

— Гав! Гав! — залаяла на нее собака.

— Пинь! Пинь! — ответила птичка.

И Пальма не выдержала.

— У-у-у-у... — завывала она протяжно.

— Что, пробрало? — спросил я собаку. — Так тебе и надо.

А Пальма, не обращая на меня внимания, продолжала тихонько выть. Кто знает, о чем? О своей горькой собачьей судьбе? Или о недавней человеческой к ней жестокости? А может, это было своеобразное собачье раскаяние перед птичкой за ее съеденных птенцов? Кто знает?..

«А если это — расплата? — подумал вдруг я. — Уж очень похоже на то, что сильный платит слабому, на правах слабого... Выходит, ненаказуемого и нет?»

стерил новое, свое. Но все это как-то механически, молча.

Иногда его навещали приятели, рассаживались на ветке и долго о чем-то «секретничали». Потом они улетали, и мой пернатый знакомый снова оставался один. Мне было грустно смотреть на него.

Так продолжалось с неделю. И вот скворец исчез. Я прождал его до вечера, но он

не появился. Ночью мне долго не спалось, думалось: «Неужели мой крылатый дружок покинул родное гнездовье?»

А когда я утром проснулся, то услышал веселый посвист птиц. Выглянул в окно, и

сердце мое вздрогнуло от радости — скворцов было двое. Они сидели поодаль от скворешни на сухих прутьях черемухи и, подергивая крылышками, выводили чудесные трели, прославляя весну, солнце и счастье.

УРОК НА ВСЮ ЖИЗНЬ

В детстве я держал голубей. Они жили под крышей нашего дома. По вечерам, когда в доме становилось тихо, я слушал их воркование. Это было похоже на журчание маленького, еще несмелого ручейка. Иногда я так и засыпал под это журчание. А как хорошо они «ходили» в высоком чистом небе! Я любовался их вольным полетом и был счастлив.

Но однажды я изменил себе: решил продать голубей. Продать, чтоб купить коньки. Я видел их на прилавке магазина: блестящие, с загнутыми передками — они были мечтою всех ребят. Помнится, я даже специально ходил в магазин, чтобы только посмотреть на них.

И это было искушение, устоять против которого я не мог. Тогда же, придя домой, я забрался на чердак и без особого труда поймал голубей. Они были очень доверчивы.

г. Киселевск

А уже через час я отдавал их рыжему верзиле по кличке Колька Цыган. Он небрежно сунул мне в руку зеленую тридцатку и тотчас принялся выдергивать из крыльев птиц маховые перья. Это называлось «сидеть на дерги».

Голубь без этих перьев надолго лишился полетов. Птица билась в его руках от боли, и на каждом выдернутом перье алела кровинка. Сердце мое сжалось, а потом стало биться, подобно голубю. Деньги жгли ладонь. Тогда я скомкал их и швырнул в лицо мучителю.

— Ах, ты так! Получай! — слышал я сквозь удары.

Очнулся в старой каменной подворотне.

Домой меня вели соседские мальчишки. И голуби, и деньги пропали. Тело ныло от боли, но я не плакал.

С тех пор я уже никогда не держал голубей,

Николай Карев

КОЛЮЧИЕ ОБМАНЩИКИ

Как-то летом я жил на даче у бабки Арины в пригородной деревне. Однажды вечером, перед ужином, подавая на стол на веранде простую деревенскую снедь, бабка Арина пожаловалась, что опять на дворе пропадают

из куриных гнезд яйца. Она рассказала, как несколько раз в птичнике видела ежей. А раз они туда заглядывают, то не иначе как воровать куриные яйца, думала бабка Арина.

Я решил успокоить старушку и обещал из-

ловить в скором времени колючих нарушителей порядка в немудреном бабьинем хозяйстве.

С сумерками я вышел из дому и открыл калитку небольшого сарайчика, в котором находились куры. И сразу же под ногами у меня зашуршало. Это были ежи. Одного я накрыл попавшейся под руки старой кастрюлей, второго поймал уже на улице, он бегал среди грядок на огороде. Остальные поспешно скрылись на картофельном участке.

Пойманные ежи были молодыми, поэтому их иглы не кололись. Они были совсем мягкими. Мне стало их жаль, а бабка Арина сердилась:

— Утопить их, и нечего тут!..

Я же сказал, что отнесу их в лес утром, когда пойду за грибами. До утра я устроил ежат в корзине. Они свернулись в ней в уголке клубком и, забавно посапывая, уснули.

Утром в корзине никого не оказалось. Сбежали? Как? Куда? Я заглянул под шкаф, под диван — зверят не было. А потом, заметив между дверью и порогом большую щель, обо всем догадался. Вчера маленькие хищники притворились спящими, а когда все в комнате уснуло — сбежали.

Об этом бабке Арине я не сказал, ведь она была очень довольна тем, что я избавил ее от колючих воришек.



Фото автора

...МОЙ ПОЗЫВНОЙ—ПЛАМЯ

Жизнь инженера Махонина

Все было очень пристойно, очень по-человечески, когда умер Махонин. Плакали жена Люба и дочки, Инка и Светлана. Друзья каменели в тяжком горе. Профсоюз и администрация сделали все, что в таких случаях полагается. Венки были от разных организаций, даже от горкома. Министр, товарищ Оруджев, прислал телеграмму о соболезновании.

В суровый январский день, вернувшись с кладбища, устроили, как водится, поминки. Слова говорили хорошие: не только по печальной обязанности, но по-настоящему, от души. Выпили, конечно. В меру говорили, в меру молчали, оттеняя этим молчанием всю печальную значимость события: нам жить да жить, а ему... Тоже все очень по-человечески, очень пристойно.

И в одном лишь была огромная и страшная непристойность: провожали человека, не дожившего и до сорока. Финал был предreshен, лучшие врачи страны ничего не смогли поделать; о предстоящем исходе все знали давно и, как ни жестоко это звучит, были к нему готовы. Но вот случилось, навалилось, ударило — и обожгло: да как же это? неужели?.. До последнего момента надеялись: может, и сейчас выкарабкается, как было уже не раз до того.

Всему бывает предел: не выкарабкался. Не смог. В этот раз сил уже не хватило.

Болезнь называлась страшно: лейкемия. Он дрался с нею, как можно драться только с настоящим, большим врагом. Она валила его

с ног, на полгода лишала способности двигаться. Разъев кровь, пыталась проникнуть в душу и мысли. Он не поддавался. Вопреки симптомам и прогнозам, поднимался и в очередной раз начинал ходить — сначала медленно и осторожно, заново учась передвигать ноги, опираясь на костыли. Потом довольствовался одной лишь тросточкой. Потом и ее отбрасывал, и уже не ходил, а бегал — молодое, задиристо, как могут лишь подростки либо люди, полною мерой познавшие, что такое обездвиженность. Тогда не было вокруг человека живее, чем он. И все кипело вокруг него, и работа шла — неумно. И тогда, глядя на этого брызжущего энергией человека, кто бы мог подумать, что все это — из последних сил, из страстного желания — успеть. Успеть сделать как можно больше, как можно лучше.

Он выстроил-таки ее, эту Трубу, бывшую главной мечтой всей его сознательной жизни. Огромная стальная магистраль, соединившая Самотлор с Кузбассом, легла в землю любимой им и родной для него Сибири. Он подал газ Приобья металлургическим и химическим заводам Новокузнецка и Кемерово. Это он успел.

Белая мгла владела Вертикосом.

Вот уже неделю валил глухой, плотный и липкий снег, и воздух был мягок и влажен настолько, что им трудно было дышать. Небо и земля слились, и в этом слиянии напрочь

затерялся маленький старый поселок на берегу Оби.

Ежеутренне в час, который должен был означать время рассвета, экипаж вертолета занимал рабочие места. Механик возился с аккумуляторами, а пилот втискивался в кресло, надевал наушники и включал бортовую радиацию.

— Ирландец-двадцать! — кричал он, по привычке сосредоточенно глядя в белизну ветрового стекла. — Ирландец-двадцать! Я седьмой, я седьмой...

— Здравствуй, седьмой! — отвечали ему. — Продолжай отдыхать: на сегодня прогноз — сто процентов вчерашнего.

— Ребятюшки, — стонал пилот. — Да я бы как-нибудь, потихоньку...

— Нет, — жестко говорил далекий аэропорт, — облачность — десять ноль, высота триста, обледенение сто. Конец связи.

— ...Связи! — бушевал пилот. — Разве ж это связь? Напридумывали паролей: ирландцы, летучие голландцы, танцы-шманцы! Дети капитана Гранта!

— Не кипятись, Вася, — просил флегматичный штурман. — Айда, лучше партию сгоняем...

— Нет, ты сам посуди: «Ирландец-двадцать» — разве ж это позывной? Смехота... — жалобно говорил пилот Вася, и они уходили в свой вагончик и, сатаня в табачном чаду, разыгрывали бесконечные шахматные баталии.

Вертолетчики медленно закисали в безделье, а единственный их пассажир блаженствовал. Он просто душою отдыхал от гонки и сутолоки последних месяцев среди здешних, вертикальных, рабочих будней.

Здесь, рядом со старым поселком, выстроившись аккуратным каре, стоял поселок новый, образованный всего лишь полгода назад из цельнометаллических вагон-домиков. В одном из вагончиков помещалась контора, в другом столовая, в третьем — магазин. Остальные десятка два заселяли люди. Они вместе составляли прорабский участок, один из многих на трассе строящегося газопровода.

Сама трасса пролегалa неподалеку. На ней день и ночь сверкали огни электросварки, ревели бульдозеры и тяжелые гусеничные тру-

боукладчики. Трасса была заполнена снегами и мощной техникой.

Здесь не думали о передышках. Плакат над конторой взывал:

СТРОИТЕЛИ! ДАЕШЬ ТРУБУ ДОСРОЧНО!
И строители жали на всю катушку. Иначе было нельзя: иначе участок мог уйти в лето, во влажное месиво глубоких болот, а это было немислимо, ибо означало годовую отсрочку пуска магистрали.

Пассажир заблудившегося вертолета — главный инженер сооружаемого газопровода — с удовольствием трясся в фургоне вахтовой машины, уезжая вместе со строителями на самый дальний пикет. С наслаждением влазил во все тонкости технологического процесса. С аппетитом обедал в походной столовой. Воротясь с трассы к концу дня, шел прямоком в контору, сбивал снег с полушубка и садился за стол. Строители уважительно смолкали. Он снимал трубку телефонного аппарата и говорил услужливой барышне:

— Махонин. Томск. Когда поговорю — Нижневартовск, следом — Парабель.

Звучали сигналы вызова, отвечали далекие собеседники... Махонин принимал рапорты и выслушивал доклады. Немногословно отдавал распоряжения. Кое-что записывал в толстую книжку, которую всегда носил с собой. Часовая телефонная переключка охватывала долгую цепочку городов и селений — от Самоглыра до самого Кузбасса, по всей протянувшейся на тысячу с лишним километров строящейся магистрали. Закончив, смотрел на начальника участка:

— Слушай, там поужинать чего-нибудь отслось?

После ужина приходил обычно местный старожил, дед Фома, про которого все знали, что он — ветеран японской войны и намерен дожить до ее столетия. Лет до этого оставалось еще порядочно, но дед не унывал. Его любознательность поражала окружающих.

— Нет, вот ты объясни, Александрович, — просил он Махонина. — А как кончится в земле этот ваш газ — чего вы тогда по трубам качать будете? Или в утиль те трубы сдадите?

— Зачем в утиль? — серьезно говорил Ма-

хонин. — Будем по магистрали посылки перебрасывать. Надежно, выгодно, удобно. И главное — быстро. Ты, скажем, шлешь внуку в Новокузнецк моченой брусники, а он тебе в благодарность на завтра же — литр чайной наливки...

— Не-ет, чайненькую нельзя, — задумчиво подхватывал старик. — Не дай господь, посуда поколется, у меня ж сердце остановится сразу...

— Однолюб ты, дед.

— Это точно, — соглашался Фома. — Окромя чайненькой, ничего не люблю уже. Эх, а вот раньше!..

Еще заглядывал Бухарин, бригадир изолировщиков. На правах старого, очень старого знакомого и хозяина этого жестяного поселка — бесцеремонен он был и шумлив. Бросал фамильярно с порога:

— Славка! В кино!

— Ну? — безнадежно откликался Махонин. — Что-то новенькое?

— Да чуток поновее нас с тобой! — хохотал Бухарин и в нетерпении топтал сапогами. — Пошли скорее, выспаться всегда успеешь.

— Чудаки живут в Вертикосе, — ворчал Махонин, собираясь. — Надо же: зимой, единственный сеанс — и в десять часов! И удлинненный небось?

— А как же — за тридцать копеек. Ну, готов?

— Сейчас, Володя...

И они шагали вдвоем в темноте, в абсолютной, крошечной ночи, на ощупь разбывая дорожку, заваленную снегом, туда, где должны были светить сквозь тьму, но не светили за плотной завесой снегопада огни Вертикоса. О боже, думал Махонин, хорошо-то как: патриархальный сельский клуб, древняя лента неважно какого фильма, всеобщая атмосфера родства, так присущая селам северной Сибири; одобрителный говорок зала по ходу сюжета и доброжелательное ожидание в минуты «технических» перерывов, когда пьяненький механик склеивает обрыв, и запах грушевого клеястера, на миг забивающий запахи влажных унтов, шуб и дрянного вина; и полная возможность думать о чем угодно своему, не очень-то вглядываясь в мельтешение с детства

знакомых кадров — до тех пор, пока не зазвучит с экрана давно забытая, но давно родная и пронзительная в своей чистоте мелодия и не ударит прямо по сердцу. И тогда все странным образом сдвинется, сместится во времени и в пространстве, и, выходя вместе с толпой из зала, вдруг почувствуешь острое одиночество, и ощутишь слезинку на щеке (впрочем, слезинку ли? Эвон, какой снежище...), и не сразу поймешь: где ты? когда ты? что ты вообще такое?

...И очутишься на плато Устюрт молодым специалистом образца тысяча девятьсот шестьдесят третьего замечательного года.

Тогда были в моде ковбойки, и песня про бригантину, которая подымает паруса, еще не вошла в разряд официальных комсомольских. Тогда все, что было связано с космосом, еще ошеломляло и заставляло смотреть на земные дела рук своих чуть ироничным взглядом.

Однокурсники, провожавшие его на вокзал, сулили невесть что: восточную экзотику, стремительную карьеру, бездну приключений... Никто из них толком не знал, что же это такое, Устюрт, и с чем его все же едят.

Они толклись у вагона, веселые и чуть хмельные, все сплошь хохмачи и — разумеется — умницы, замечательные парни, настоящие друзья, а он — он уезжал первым и оттого сознавал себя вправе быть как бы взрослее их всех — вдохновенно говорил им в ответ какие-то очень важные и очень убедительные слова:

— Товарищи инженеры! Будем всегда!... Старики! На нас вся страна смотрит! Любовь и дружество до нас... Только чтоб не терять друг друга!.. За нашу Советскую Родину!

Вино плеснулось в стакан, закричал по-другому паровоз, проводница шепнула: пора, и Люба, юная жена, пока еще даже не молодой специалист, а студентка, которой предстояло доучиваться два года, в последний раз взглянула светло и тревожно:

— Смотри, Славка: там ведь пустыня все-таки...

Был довольно невнятный денек на исходе долгой оттепели, вроде бы и весною пахло в

сером железнодорожном воздухе, и будоражила предстоящая дорога, и легко было на сердце. И он бережно — но быстро, потому что уже стронулись, поплыли вагоны — обнял Любу и сказал, вскакивая на подножку:

— Пустыня! Это ж хорошо: тепло всегда...

Так и ехал — убежденный, что приближается к теплу. Спасибо матери: насилу навязала меховую куртку.

Сегодня уже пятый день марта, а у нас этого не чувствуется. Метет пурга, и машины не могут пробиться вот уже несколько суток. А вдруг они мне везут сразу много-много писем, чтобы я мог их долго-долго читать?

Я, когда жил дома, очень редко видел тебя во сне, а сейчас только глаза закрою — сразу же вижу тебя и даже нашего маленького, но почему-то не одного, а сразу троих или четверых. Может, так и будет? А? Вот было бы здорово!

Я тогда весь Устюрт напою, и начальство, наверно, отпустит меня домой на недельку...

Тарабрин, интеллигентный старый прораб, ворчал:

— Жажали, черти, трубу! Думают, мы плакать без них станем. Забыли, видно, как мы в сорок четвертом успевали и их бить, и саратовскую магистраль строить... Тогда нам никто ничего не давал, между прочим...

Речь шла о поставке труб большого диаметра; поставку тормозило тогдашнее правительство ФРГ, демонстрируя стратегию холодной войны в области экономики. Очень это злило наших трубопроводчиков.

О газопроводе Саратов — Москва на Устюрте вспоминали часто: многие из тех, что работали здесь, начинали там. Саратовская магистраль была первой в советской истории.

На трассе Бухара — Урал ложился первый наш газопровод нового типа.

В письмах домой Махонин восхищался:

Нас многому учили в институте, и хорошо, надо сказать, учили. Но здесь на каждом шагу приходится ощущать себя в положении не инженера, а экскурсанта, столкнувшегося с чем-то, до сих пор невиданным. Развеаешь рот от удивления и думаешь: ну, а это с чем

едят? Ведь о таком в наших программах даже и намека не было!

Нет, ты не думай, что я ругаю наших преподавателей — они добросовестно передали мне весь опыт, накопленный за многие годы. Но как быть, если у меня перед глазами — рождение нового опыта в условиях невиданной стройки? Приходится учиться самостоятельно, на каждом шагу, на каждом километре.

Представь себе: диаметр газопровода — 1020 миллиметров.

Это — метр! Такого не было пока нигде! И чтобы подать по трубам такого сечения столько газа, сколько нужно Уралу, понадобились компрессоры невиданной мощности. И вот я умиляюсь всей этой фантастической техникой и от умиления глотаю свои инженерские слюнки.

Но не думай, что этим только и занят. Кроме всего прочего, есть еще и работа, да такая, что восьми часов в день, как ни старайся, не хватает. Ну и прекрасно: вот лучший способ заново пройти курс инженерных наук...

А трасса Бухара — Урал гремела на всю страну. Новизна притягивала. Поселок строителей в сердце пустыни называли Комсомольск-на-Устюрте. В нем мало было удобств, что неизбежно всегда на новом месте. Впрочем, так ли уж неизбежно?

Удобства в пустыне начинаются с элементарного: с воды. С тени, в которой можно отдохнуть. С зелени. Комсомольский штаб стройки решил: каждый молодой строитель обязан посадить в поселке по сто деревьев. Сто — на каждого, не слишком ли много? Нет, не слишком: очень уж здесь жесток естественный отбор. И девяносто пять из ста деревцев гибли — от жары, от безводья, от зимней стужи, но зато пять — выживали. И сегодня Комсомольск-на-Устюрте зеленее многих естественных оазисов в этом краю.

Пришла телеграмма: родилась дочь. Махонин праздник устроил, но с работы отпрашиваться не решился. Дел было по горло, самая запарка. (Тогда он еще не знал, что вся жизнь будет такой. Полагал: вот немного схлынет напряжение на стройке, можно будет

и отдохнуть.) Договорились: Люба с ребенком придет к нему на лето.

...Дом наш уже оштукатурен, плотники стелют полы. Думаю, месяца через полтора, к нашему приезду, все закончат.

Меня «повысили». Партбюро пристегнуло нагрузку: теперь я зам. начальника дружины. Комитет тоже решил не отставать и зачислил меня в «Комсомольский прожектор». Как видишь, выбиваюсь в люди. Скоро задеру нос. Приезжай, надо оттянуть его книзу.

Без тебя Эшюрт совсем разонравился. Приезжай скорее!

Ой, летит самолет. Генка улетает в Нукус, там сбросит письмо, а я следующее вдогонку напишу...

Это сейчас все трубопроводчики Союза знают друг друга: за полтора-два десятка лет сложились коллективы, завидно стабильные и крепкие. Сегодня целый монтажный или строительный трест, вооруженный мощнейшей техникой, способен в считанные часы перебраться с одного конца страны на другой, развернуть силы и с ходу включиться в дело. Такое умение враз не дается. В начале шестидесятых, когда отрасль только формировалась, все было иначе. Тогда и впрямь была надобность в дружинниках, стерегущих порядок и покой вахтовых поселков и городков на трассе; тогда, на первых порах, понятие инженерного умения не исключало даже навыков обуздания хулиганской вольницы: разного рода человеческая накипь, как известно, охотно пристает к любому большому и новому делу.

Махонин иногда вспоминал потом, как пришлось однажды разгонять перепившуюся, вышедшую из всяких берегов толпу, состоявшую из «вербованных» — людей, прибывших с очередным оргнабором. Из песни слова не выкинешь: история ударных нашихстроек включает в себя и такие эпизоды; как бы ни были они нетипичны, умалчивать о них — значит, обеднять истинную картину.

— Вдвоем держали всю эту сволочь, — рассказывал он в обычной своей краткой манере. — Туго пришлось. И еще неизвестно, чем дело бы кончилось — уже ножи появились — когда б не подоспела подмога. И знаешь, кто

нас тогда выручил? Володя Бухарин привел всю свою бригаду — частью на бульдозерах, остальные — пехота...

— А потом что?

— Потом? Да ничего. Повязали тронх уголовников, отправили в Кунград, в милицию... С тех пор мы с Володией крепко подружились.

Тогда Бухарин сказал ему:

— Слушай, Вячеслав, ты в детстве, наверно, отчаянный был задира?

— Был! — засмеялся Махонин. — У нас, брат, в Кузбассе все такие! А ты с чего это решил?

— Дерзкий ты парень, — сказал Бухарин. — В работе дерзкий. И со шпаной тоже. Уважаю таких. Не боялся, что пырнут под ребро?

— Боялся, — признался Махонин. — Но виду не подавал. Иначе — каюк.

— Уважаю, — повторил бригадир.

...Люба приезжала, и лето пролетело кувирком. Пришла осень — и с нею новый подъем работ. Следующее письмо набросано на бланке с грифом объединения Бухаранефтегаз:

Любашка, милая, здравствуй!

Что-то у нас никак не может наладиться переписка. Но ты не сердись на меня. Я не буду оправдываться тем, что у меня много работы, хотя ее и на самом деле очень много. Когда заканчиваешь день и приходишь в вагончик, то падаешь без сил и буквально ничем не хочется заниматься, ну, а ты сама знаешь, что писать я не такой уж любитель. Ты мне лучше сообщи, пожалуйста, номер телефона в общежитии, и я буду тебе часто звонить. Телеграммой сообщи: Кунград, мне.

Ты приедешь и не узнаешь своего мужа. Я и сам себя часто не узнаю. Сейчас много приходится бывать и в обкоме, и в облисполкоме, и во многих других ведомствах. Так вот: как куда надо выехать, я захожу в вагончик, переодеваюсь, и потом оттуда выходит высокий, симпатичный, интеллигентного вида инженер. Он садится в машину, небрежно откидывается на спинку сидения и, закулив папиросу, бросает: «Поехали!»

— ...Он тогда одеваться не то чтоб не умел, а вот — не любил, — пояснила Люба. — Я беспокоилась в письмах: чтобы не выглядел хуже других. Ну, он меня и успокаивал...

Потом она защитила диплом и приехала к нему насовсем. Дальше трассу они строили вдвоем, и писем больше не было. Да и стройка шла к завершению. Предстояла новая, не менее сложная и интересная работа — наладить эксплуатацию газовой магистрали.

...Автор этих строк, было дело, все пытался доискаться каких-то особенных страничек жизни Махонина. В силу чисто журналистской привычки выискивал что-нибудь этакое, героическое, что ли: фон, на котором особо ярко проявилась бы личность человека.

— Слушай,— говорил я,— ну неужели не было у тебя чрезвычайных ситуаций? Аварийный выброс газа, скажем... Или вот, читал недавно, — целая изолировочная колонна тоннула в половодье, пришел даже приказ бросить машины и выбираться самим, но отважные люди спасли технику из беды...

Он все посмеивался да отшучивался: не было ничего такого.

— И слава богу, — сказал однажды. — Почему та колонна чуть не утонула? Не вовремя начали работы, да еще и по ходу выбились из графика, — вот и ушли в лето. А должны были уехать немного раньше. Значит, что? Значит, инженерная подготовка ни к черту. А насчет аварийных выбросов да взрывов ты лучше и не говори — я об этом спокойно слышать не могу. Когда такое случается, людей сажают. И правильно делают. Кому нужен аварийный героизм инженера? Его обязанность — сделать работу так, чтобы не было никаких ЧП. А я пока своим инженерным званием дорожу. И горжусь — да, горжусь! — тем, что работаю без аварий.

У нас много писалось о том, что в разных областях заводской промышленности, в большинстве видов капитального строительства звание инженера значительно девальвировано, снижено в цене. Причин сему много: переизбыток кадров — где-то абсолютный, а где и относительный (когда инженерные должности устойчиво заняты практиками с большим стажем), порою — недостаточная подготовка специалистов в вузах, часто — слабая профессиональная ориентация молодых людей, идущих

в институт, не представляя себе конкретных производственных реалий.

В нынешнем трубопроводном транспорте — на всех его стадиях, начиная со строительства, — все не так. Тут, видимо, сама молодость отрасли диктует расстановку сил. И руководителям министерств — нефтяной промышленности, газовой, Миннефтегазостроя СССР — предоставляется прекрасная возможность учитывать ранешние недочеты и ошибки их коллег из других систем. Да и не так уж много специалистов в этих областях выдал народному хозяйству Минвуз: здесь тоже сделали выводы из предыдущего опыта и стали дозировать обучение в строгом соответствии с потребностями производства.

Кроме всего прочего, играет роль и субъективный фактор: как ни суди, а работа на сооружении либо на эксплуатации магистрального трубопровода — далеко не райское времяпровождение. Как ни странно, месторождений нефти и газа рядом со столичными или курортными городами нет, транспортные пути «черного» и «голубого золота» пролегают все больше по местам нехоженным (или, по крайней мере, необжитым), сюда человека, настроенного на тихую канцелярскую жизнь, никакими деньгами не заманишь. Вот и получается, что идут в эти отрасли люди, которым жизненные блага важны как результат их труда, а не в качестве бесплатного приложения к собственному существованию; люди, умеющие работать и знающие в работе глубокий ее смысл; те, для кого органически необходимо жить и трудиться с полной отдачей — и никак иначе.

(Таких людей вообще-то много. Но далеко не столько, как хотелось бы. И нечего на это обстоятельство стыдливо закрывать глаза. Ибо будь у нас все поголовно самоотверженны в своем деле, коммунизм сегодня был бы уже построен. А так пока тезис «формирование нового человека» партия вовсе не собирается снимать с повестки дня, и работы в этом направлении — непочатый край.)

То есть в силу вполне объективных обстоятельств и условий, в отраслях, о которых идет речь, роль отдельного инженера если и не исключительна (как было во времена Шухо-

ва, Графтио, Курако или Бардина, сами имена которых непредставимы без гордой приставки: инженер), то все же очень и очень велика. Здесь каждого специалиста знают и — в зависимости от деловых данных — ценят коллеги. Он всегда на виду не только у подчиненных, но и у начальства. Для того чтобы сделать служебную карьеру (да простят мне это слово люди, привыкшие к превратному его толкованию), здесь нужна прежде всего способность к делу, а вовсе не те качества, что часто — слишком даже часто! — подменяют собою истинные ценности*.

Инженерная вольготность, из всего этого вытекающая, служит хорошую службу не только специалистам, но и отраслям. Взять то же трубопроводное строительство. Это направление совершенствуется так быстро и так целеустремленно, что впору удивляться не только стороннему наблюдателю, но и сугубо знатоку. За короткие годы основную сварочную работу здесь переложили на «плечи» автоматов; битумную изоляцию сменила пленочная (идет машина и размеренно так, спокойно пеленает гигантскую трубу в полимерную обертку, а прочность и надежность тут — на века); а какая землеройная техника пришла! а трубокладчики какие появились! То, что произошло в трубопроводном строительстве за десять лет, трудно охарактеризовать иначе, как: научно-техническая революция. Научились строить не хуже, чем западные коллеги и конкуренты.

И вот пример. В одно и то же время строились две гигантские трубы, два нефтепровода. Один — знаменитый трансалейский, второй — гораздо менее известный не только в мире, но и в Союзе — наш, Александровское — Томск — Анжеро-Судженск, через всю Западно-Сибирскую равнину. То, что он не так громко прозвучал, как американский, говорит

лишь о том, что мы свои достижения по-настоящему рекламировать еще не умеем. А рекламировать было что, ибо равная заграничной по протяженности, диаметру и пропускной способности, проложенная в ландшафтных и климатических условиях, ничуть не лучших, нежели на Аляске, наша магистраль была выстроена почти вдвое быстрее. И качество, будьте уверены, ничем не хуже. И рабочих рук было затрачено не больше, а техники и вовсе меньше, чем у них. Значит, можем? Умеем, значит? Да, и еще как. Но журнал «Америка» отвел аляскинскому нефтепроводу специальный номер (глянцевая мелованная бумага, снимки на разворот, обилие потрясающей цифри, приподнятый рассказ о преображении далекого штата), а мы почему-то даже параллелей между двумя стройками не проводили — будто стеснялись чего-то.

Махонин писал товарищу:

Осточертел мне Н. По-моему, у него всегда один и тот же припев: там — хозяйева, там умеют организовать работу и заставить работать. И это — руководитель с большим стажем и настоящим размахом. Что он, в конце концов, в собственном неумении расписывается? Ведь это ж от него зависит — быть или не быть хозяином, как организовать производство, кого заставить работать, кого убедить, а кого просто поддержать. Говорит: учиться надо у капиталистов. Я ему: ради бога, учись, кто ж тебе мешает? Тебе и командировку туда дадут, если уж очень хочется. Только прежде всего научись у них работать поменьше. Обижается, конечно.

Самое дрянное — что он не один такой. Вот прочитали в журнале, что американцы на строительстве своих труб всегда имеют 200% необходимой техники — и давай цокать языками. А я говорю: что эти двести процентов? Это неорганизованная работа, это они технической задавливают. Ты вот смог организовать настоящий технологический поток, когда у тебя 100% и ни копейки больше, ни бульдозера, ни лопаты сверх нормы, когда нужно так крутиться, что ни у одной машины нет возможности для остановки...

Учиться-то нам у них действительно надо. Но вот часто ли мы думаем, что и они ведь

* В самом деле: как легко мы принимаем за истину простое умение вести себя, навык ориентироваться в конъюнктурной обстановке да еще слова о верности идеалам, тогда как подлинное служение идее есть лишь повседневный и убежденный труд во имя ее воплощения. По этому поводу у Ильфа и Петрова есть поразительная мысль; тем поразительная, что за пятьдесят лет не только не утратила актуальности, но и наполнилась особенно глубоким смыслом: «Все мы любим Советскую власть. Но любовь к Советской власти — это не профессия. Надо еще и работать».

у нас учатся? И гораздо прилежнее, чем мы у них. Планировать учатся, организовывать, хозяйствовать — у меня, у коммуниста!

Последнее письмо отдалено от предыдущих промежутком в десяток лет. Этого нельзя не заметить: пишет человек безусловно зрелый, опытный руководитель производства и хозяйственник, уверенный в себе. Таким он и остался в памяти большинства знавших его людей.

Да, но где искать точку, положившую начало становлению характера? Где эти корни, по которым, как живительные земные соки в крону дерева, поступали в мозг человека силы, принципы, убеждения? Да и как вообще определить истоки личности?

Начать с детства? Оно у Махонина, как и у огромного большинства его сверстников, было не шибко радостным. Война запомнилась как время большой тревоги для старших и невнятных детских страхов. Как время постоянного желания есть. Потом была еще великая сибирская голодуха первых послевоенных лет.

В школьные годы поначалу был задирист непомерно. Тоже качество, мало о чем говорящее. Из задира очень даже просто формируются тишайшие окраинные люди, пуще всего на свете дорожащие возможностью жить своим умом и своим углом, не влазя ни в какие истории, в том числе и в историю современности. А из того же аккуратного отличника вполне получается человек какой-нибудь особо героической профессии, и потом ахают пораженные соседи и соклассники: «Как, Говорушкин? Кто бы мог подумать! Такой тихоня — и на тебе, в мирное время награжден боевым орденом!» Нет, здесь единых рецептов жизненного пути не существует.

Стал постарше — и всю свою ершистость, всю непокорность и упрямство переключил на спорт. Там это необходимо, там это называется упорством в достижении цели. Хорошим был футболистом — разумеется, форвардом. Особенно любил пулевую стрельбу и стрелял, надо сказать, отменно. Имел разряды... Вот, казалось бы, то, что надо: спорт! Но нет: разве мало мы знаем примеров тому, как спор-

тивная жизнь создает не личности, а пародии на них, как в самоцельном стремлении к победам человек теряет что-то очень важное, человеческое?

В комсомоле был тоже как все — не лучше и не хуже. Данные ему поручения точно исполнял, но и только. И то: кто из нас не имел этих поручений? Опять же, какого-то глубокого вывода из этого не сделаешь...

А собственно, так ли они нужны, выводы? Рос парень как парень, не без достоинств, но и не вундеркинд, не ангел, разумеется, но и не из бесов. Получал вовремя уроки социального воспитания, которые щедро преподавали ему семья, улица, школа, страна, эпоха. Уроки эти осознавал, кое-что впитывалось чуть глубже, чем — сознанием. Голова работала неплохо, так что обмозговывал — что к чему. И вырос — человеком. Нормальным, советским.

А полностью, по-настоящему раскрылся он в работе, которой был привержен, как истинной, как первой любви.

Тут, наверное, можно было бы сказать: еще бы! Такая работа! Трубопроводный транспорт — одна из самых современных отраслей нашей индустрии, широчайший простор для поиска, постоянная новизна. Почва идеальная для любого роста: воткни сухую хворостину — и она даст корни, из которых непременно возрастет раскидистое дерево.

Так? Нет, не так.

Как бы ни было важно и велико дело, ничто ему не поможет, если нет у него своих апологетов, апостолов, энтузиастов. Мне страшно становится, когда человек видит в своей работе только скуку и ничего больше. Смотрит на тебя вялыми глазами и не может понять: как это, работа — и вдруг — интересно?!

На мой взгляд, нет ничего на свете скучнее, чем квалифицированное собирание марок. Учет зубчиков, выискивание каких-то штрихов, не существующих в других экземплярах, назойливый поиск номинала, не достающего до полной серии... Однако ж филателия — увлечение, одно из самых распространенных на земном шаре.

Этим я хочу сказать, что скучных вообще дел — не бывает.

Я знал бухгалтеров, постоянно ощущавших высокое свое предназначение. Эти люди умели слышать поэзию канцелярских своих сфер.

Я знал человека, с детских лет увлеченного проблемами транспортных развязок. Ребенок однажды задумался о том, как не прост, оказывается, простой городской перекресток, — и пронес это радостное ошеломление через многие годы. Он вырос, стал крупным ученым, и теперь ведущие транспортники страны учатся по его книгам: как лучше состыковывать магистрали и регулировать грузопотоки.

Я знал женщину, которая всю долгую жизнь проработала билетером. В единственном кинотеатре провинциального городка. Но ее знал и любил весь город. А почему? Ежедневно она шла на работу, как на праздник. Ей это было — интересно. Каждый день, каждый раз — интересно. И вот на склоне лет она была награждена орденом Ленина и все недоумевала: за что? что я такого сделала? А в указе ее фамилия соседствовала с именем Улановой...

Скука заключена не в работе — в нас. Это мы, если уж очень постараемся, сможем засушить и заморить любое самое благородное и романтическое дело. Есть ведь и геологи, считающие свою бродячую и полную неожиданных радостей профессию — просто ошибкой. Есть летчики, которым противно летать. И моряки, с унылым томлением глядящие на экзотические острова самых дальних морей и прикидывающие: а сколько таких островов еще осталось до пенсии? И подводные исследователи, ненавидящие таинственный мир океана — только потому, что он им скучен. Он — их ошибка.

Впрочем, что это я распаляюсь? Обо всем этом прекрасно знали еще далекие наши предки, придумавшие поговорку о том, что не место красит человека...

Только все же очень часто, даже в конце двадцатого века, мы об этом забываем.

И было выстроено, и торжественно пущено газопровод Бухара — Урал, и началась его эксплуатация. И здесь дел было невпроворот: заставить эту махину работать на полную

мощность — задача не из простых. Кадровых специалистов катастрофически не хватало, и Махонин так же, как и многие его коллеги, был переведен из числа строителей в эксплуатациюники. Тогда он писал институтскому другу:

Ты не удивляйся — ничего удивительного здесь нет. Во-первых, это не наказание, а наоборот: выбирали-то лучших молодых инженеров. Во-вторых, сменить профиль работы не так сложно, как может показаться: ведь всю необходимую для этого практику мы получили. Все технологическое оборудование собирали собственными руками... В-третьих, скучать и здесь не придется. Дел — море!

Такие дела обычно не видны, и люди, их творящие, тоже. Идет газ пустыни в промышленные центры, идет бесперебойно — так и должно быть. А кто и как обеспечивает бесперебойность, не так уж важно. Таков стереотип обыденного сознания. А Махонин и его товарищи запускали новые компрессорные станции, поднимали производительность магистралей, кропотливо прощупывали каждый метр трубы, предотвращая утечки: надежность должна быть стопроцентной. Газ пустыни — символ человеческого упорства.

Наконец-то вырос до понимания Тургенева. В школе нам так засушили мозги обязательными проработками классиков, что сейчас без предубеждения в руки взять трудно. Однако взял — и открываю для себя нового писателя. Да что там писателя — целый мир открываю!

Вот в «Отцах и детях» зацепила меня такая мысль. Время может тянуться для нас бесконечно, а может лететь стремительно, но человек только тогда чувствует свою жизнь полнокровной, когда не замечает хода времени вообще. Естественно, я тут же прикинул это к себе — и убедился: все верно. Я, видно, счастлив, потому что для меня время никогда не существовало. Просто его у меня не было...

Вот вчера — только вернулся из Нукуса (ездил с отчетом), как вызывает меня Джуманиязов: мои орлы крупно кое-где напортачили. Пришлось крепко разбираться. Все это затянулось за полночь. А завтра спозаранку ехать за триста верст с плановой проверкой.

Хорошо, сегодня воскресенье: сделал мелкие домашние дела, взялся, наконец, ответить тебе, а на десерт берегу Тургенева. Если, конечно, не потревожит телефон и не придется устраивать производственный аврал в час сiestы...

В начале семьдесят второго года его вызвали в министерство.

— Вы, Вячеслав Александрович, кажется, родом из Сибири?

— Да, — сказал он. — Из Кузбасса.

— А теплые края еще не надоели?

Он пожал плечами: при чем здесь теплые края? Ближе к делу...

— Как вы смотрите на то, чтобы перебраться на родину? Планируется новая магистраль: Нижневартовск — Томск — Кузбасс.

Он согласился не раздумывая. И только потом спросил: в каком качестве придется работать?

— Главным инженером газопровода, — сказали ему.

Стрежевой — это на самом севере Томской области — представляет собой поселок размером с наш первый участок. В центре несколько (штук 10—15) пятиэтажных домов, вокруг них двухэтажные брусовые, а затем такие, как были у геологов на КС-7. Всюду песок, очень пыльно, видно, что город только-только начинается.

В Нижневартовске в конторе (это арендованная у строителей маленькая комната в двухэтажном доме, на втором этаже) меня уже ждала телеграмма из Москвы с указанием вылететь в Сургут для проверки хода работ по подводному переходу через реку Черную. Но поскольку был уже вечер, я пошел устраиваться в гостиницу, где меня поселили в коридоре — правда, с обещанием завтра переселить в номер. Вот сейчас сижу на диване и пишу вам письмо.

Нижневартовск (пишется вместе) — город, довольно большой по площади. Начинается он с одноэтажных частных домов — это Старый город. Затем идут восьмиквартирные двухэтажки, деревянные, точно такие, как были в Кунграде, — помнишь, где жили Толик и Тамара Черниковы? Эти дома занимают площадь, как от поворота на 43-м пикете — и до

нашего второго участка. Потом все те же пятиэтажные крупнопанельные, застройка и планировка приблизительно те же, только в центре кварталов рядом с детскими садами — школы. Говорят, школ здесь, в новом городе, целых четыре. Я видел одну, на 940 мест, очень даже неплохо. Видел вполне современный кинотеатр и второй, не очень. Телецентр — видимость по телевизору отличная...

Письма писались урывками, на бегу; начав в Нижневартовске, заканчивал в Сургуте, а отправлял из Стрежевого. Сейчас, внимательно рассматривая их, можно легко представить, где и как рождались какие строки. Вот эти, например, явно в вертолете, на подложенной под бумажный лист толстой папке: буквы вдавлены глубоко в бумагу, а слова вдруг прыгают в самых неожиданных местах.

Здравствуйте, мои хорошие!

Сегодня — 13 августа 1972 года. Завтра у Инуськи день рождения, ей будет целых четыре года — совсем уже большая девочка. А Светлашка уже приехала из лагеря, и, наверное, воспоминаниям нет конца. Все вы сейчас готовитесь к Инуськиному празднику — так желаю вам хорошо встретить этот день. Ну, а я подарок вручу, когда вы приедете. Уже приготовил.

Из моих новостей: когда вставал на воинский учет, мне повысили звание. Теперь я уже инженер-лейтенант.

Теперь еще немного о городе, в котором нам предстоит жить.

Нижневартовск получил звание города 23 марта 1972 года. Население свыше 40 тысяч, но благоустройства пока никакого. Аэропорт такой же, как в Кемерове, а сам город напоминает Кунград, так же по улицам проложены арыки. Вам лучше лететь через Новосибирск — оттуда идет прямой рейс, который выполняют большие самолеты ТУ-134 и АН-24. А теплоход от Томска идет около четырех суток.

И все же многое говорит о том, что года через три в этом городе будет очень красиво. По крайней мере из всех нефтяных городов, таких, как Сургут, Нефтеюганск и т. д., — Нижневартовск уже лучший.

Пусть Света напишет мне о своем прощальном костре.

Целую вас всех, скучаю.

Ваш папа Слава.

Пишите мне: Нижневартовск, гостиница «Строитель».

И опять было самое начало. Только началась большая сибирская нефть. Едва-едва проклюнулись на болотистой земле Приобья новые города. В районе Самотлора не было газовых месторождений, но газ был — попутный, неизменно сопровождающий нефтяные залежи. Он мешал нефтедобытчикам, и его сжигали в больших факелах. (Сколько восторженных слов было написано о факелах Самотлора! А ведь полыхали-то они не от хошей нашей жизни...) Когда специалисты подсчитали объем запасов этого попутного газа, они буквально за головы схватились: хватало на то, чтобы полностью обеспечить топливом всю большую металлургию и энергетику Кузбасса, все коммунальные службы Томска, Новосибирска, Кемерово и Новокузнецка, и еще оставалось, чтобы дать сырье для химического производства. Плюс огромная экономия угля и нефтепродуктов. Минус — черное небо индустриальных городов. При таких исходных данных сооружение газопровода становилось просто-таки необходимостью. И оно началось.

Частная переписка порою говорит о человеке больше, чем его основное, служебное (если можно так выразиться) творчество. Циркуляры и докладные записки безлики; будущим историкам нашей промышленности можно лишь посочувствовать: они зараннее чуть ли не обречены на канцеляризм изложения.

Как я ни искал, но так и не смог найти писем Махонина, относящихся ко времени строительства магистрали Нижневартовск — Томск — Кузбасс. Скорее всего, их и не было, этих писем: слишком бесперебойно работала на всем протяжении огромной трассы радиотелефонная связь. (В течение двух минут можно было получить разговор с любым пунктом Советского Союза, имеющим хоть какое-

то отношение к Мингазпрому. Надо отдать должное газовикам: система связи у них поставлена исключительно хорошо.)

Но мне повезло уже в том, что этот последний в жизни Махонина этап не нужно было восстанавливать по письмам и рассказам близких: я сам к тому времени познакомился и подружился с этим человеком. Газета, которую я представлял, уделяла строительству газопровода очень большое внимание, и мне приходилось проводить «на трубе» половину рабочего времени. Тогда-то я и понял, что значит инженерное обеспечение стройки, растянувшейся на тысячу двести километров.

Многие тысячи людей создавали магистраль. Изыскатели-первопроходцы таежных дебрей. Проектировщики и экономисты. Металлурги и сталепрокатчики, изготовившие трубу. Транспортники: железнодорожники, авиаторы, речники, автоводители. Строители десятка разных специальностей. Снабженцы — как же без них! Лесорубы. Энергетики. Химики. Водолазы.

Главный инженер строящегося газопровода обязан был направить разнородную их деятельность в единое русло.

Единое русло... Сказано слишком общо. На деле были десятки накладных, которые надо проверить, и десятки телефонов, по которым нужно позвонить, торопя выдачу продукции, — ежедневно. Проконтролировать перевалочную базу в Томске: из многих тысяч тонн оборудования первоочередной отправке на север подлежало лишь то, что должно было понадобиться стройке завтра и не позже — иначе неизбежны потери. Тресты Уралнефтегазстрой, Омскнефтепроводстрой, Томскгазстрой и еще подюжины «строек», переброшенных в Западную Сибирь из разных городов страны, занимали на трассе строго разграниченные участки — от пикета такого-то до такого-то — и отвечали за них. А главный инженер отвечал за то, чтобы даже самый дальний пикет имел вовремя все необходимое для точной и толковой работы. И особенно много хлопот причиняли города, куда направлялся газ: не очень-то они спешили перейти на новое топливо, приходилось подгонять, используя для этого

разные рычаги нашего государственного механизма. И еще за качество отвечал Махонин: в любом строительстве у нас до сих пор довлеют надо всем валовые показатели, давно уже изжитые в индустриальных отраслях (положение должно измениться с реализацией постановления ЦК КПСС и Совмина СССР «Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы» — но это дело хоть и ближайшего, но — будущего), — а это вовсе не стимулирует строителей на выдачу безукоризненной продукции; тут нужен глаз да глаз, контроль и еще раз контроль...

В идиллическом Вертикосе, задавленном новгородным снегопадом, я оказался свидетелем такой сцены. Махонин только что обнаружил откровенный брак в изоляции трубы и теперь распекал за это прораба. Тот, пытаясь оправдаться, сказал огорченно:

— Понимаешь, Вячеслав Александрович, за кем другим я бы и сам проверил. Но чтобы за Бухариным...

— Что? — сказал Махонин резко. — Так это его работа? Дожил!

И тут подбежал быстрый в движениях Бухарин, разом оценил ситуацию и бодренько так воскликнул:

— И на старуху случилась проруха! Не волнуйтесь, товарищи, через час все будет в порядке!

Кемерово — Томск

Кровь отлила от лица Махонина; он буквально побелел.

Глянул в глаза бригадиру и глухо и гневно бросил:

— Эх, ты!

Повернулся и пошел прочь. Все замолчали, так что слышен стал даже невесомый шелест снегопада.

Вечером Бухарин не появился в «командирском» вагончике. А на следующий день, когда расчистилось наконец небо и вертолетчики стали гонять на малых оборотах винты своей машины, готовясь к рейсу, прибежал с трассы запыхавшийся:

— Слава... Ты, того, не серчай... Не надо... Все сделал как следует.

— Брось, — сказал Махонин. — Этого не было, понял, Володя? Мои друзья туфтить не могут, понял?

И небо светлело в заманчивой глубине, и видимость была хорошая, и легкий морозец в полнейшем безветрии стоял над великой равниной — лучшая для трассы погода, и чертова пропасть дел была впереди, и много чего еще было впереди — вся жизнь, сложная и хорошая.

Только вот оставалось ее, жизни, совсем немного.

Но об этом пока знал лишь один человек. Кроме врачей.

□□□

ЗЕМЛЯ СО МНОЮ ГОВОРИТ

Раздумья перед новой книгой

По существу, Земля говорит с каждым из живущих на ней людей. Весь вопрос в том, умеем ли мы слушать Землю? И что мы способны ей ответить?

В этом очерке, дорогие читатели, я хочу поделиться с вами раздумьями о нескольких своих поездках последних лет, наблюдениями за теми процессами, которые происходят в долине реки Томи. Тема все та же: наши отношения с окружающей природой.

1. Берег разлада

Образ этот пришел из моих же стихов, причем не сразу, а постепенно, в процессе поэтического осмысления журналистского опыта. Для меня поэзия и очерковая публицистика всегда шли рядом, питая и поддерживая друг друга. Вот строки, написанные 12 лет назад.

За плечо горизонта умчась на колесах,
На полярной машине набрав высоту,
Помнил я о Томи, где по тихому плесу
Плыло детство мое на сосновом плоту.
Плыло детство мое в ледовитые дали
По валунному руслу, по лунной черте.
И меня с двух сторон берега зазывали:
Левый берег — к удаче,
а правый — к мечте.

А вот совсем недавние строки:

Здесь однажды
С ночной высоты
Я в долине своей обозначил
Очарованный берег мечты
И сверкающий берег удачи.

И, наконец, строфы из поэмы «Притомье», где обретает зримые черты еще один берег родной долины — берег разлада.

И смерч упал,
Пронзительный до боли.
Несутся низом,
Словно в чистом поле,
Ветра хмельные с привкусом смолы,
Их гасят ветви,
Но ветра проворней...
И глухо стонут под землею корни,
Когда качаются столетние стволы.
Кричит кедровка —
Встреч недобрых вестник.
И, сбивая, не может сесть на пестик
Ромашки
Запоздалая пчела.
Густеет бора темная громада,
И у него один напев — разлада,
А я считал —
Гармония была.

Совершенно четко обозначившийся берег разлада — это утрата природных ценностей в результате хозяйственной деятельности человека. Для индустриальной долины реки Томи она приобрела размеры катастрофические. На сравнительно небольшой территории Кемеровской области разместилась большая часть производительных сил Западной Сибири, здесь угольные шахты и разрезы, металлургические и химические гиганты, леспромыслы и крупнейшие животноводческие комплексы. На глазах одного поколения кузбассовцев обмелели реки, исчезли хвойные массивы на водосборной площади, большие территории нарушены горными работами, исчезли родники и малые реки, водный и воздушный бассейны загрязнены выбросами промышленных предприятий.

В поле зрения попадают все новые и новые факты, проявляются новые аспекты борьбы за сохранение природы. Вот пример: мы еще мало знаем о влиянии на природные ценности индустрии отдыха, которая тоже требует жизненного пространства. Берега реки выше Кемерова, Новокузнецка, Междуреченска густо заселены дачными поселками, профилакториями и домами отдыха. Это еще один мощный загрязнитель реки Томи и ее притоков, ибо создаются эти учреждения без единого плана и не имеют эффективных средств очистки стоков.

Никогда не изгладится из памяти грустное впечатление от пребывания в одном из профилакториев. Современные многоэтажные корпуса поднялись прямо в центре замечательного кедрового массива. Инициаторы этого дела руководствовались добрыми побуждениями: обеспечить отдыхающим чистый воздух, постоянную близость к самому целебному дереву Сибири — кедр. Но они проявили при этом вопиющую экологическую безграмотность.

Наши предки свято оберегали кедрачи, не тревожили их понапрасну, а селились в отдалении. Что же случилось здесь? Проложены теплотрассы и другие линии подземных коммуникаций, подрублены корни. Уходят белки, улетают птицы, уплозают муравьи. Деревья заболевают неизвестными ранее болезнями и гибнут одно за другим.

Услышал я такую шутку в одном горношорском поселке. Приехали рыбаки, спрашивают у местных жителей:

— Рыба-то здесь есть?

— Да куда ж ей деваться! — отвечают жители.

Закинули удочки, обследовали омуты, ни одной поклевки.

— Где же рыба? — спрашивают гости.

— Да откуда же ей взяться! — отвечают жители.

Много правды в этой шутке. Рыба в водоемах Кузбасса действительно исчезает. Сотни и тысячи рыболовов в свободное время отправляются на Томь и ее притоки испытать счастья. Горожане ищут общения с деревьями, травой, собирают грибы и ягоды, лекарственные травы и цветы. Это вполне закономерная тяга к природе, но нельзя допускать, чтобы природа терпела от этого ущерба. Браконьерство, сознательное и невольное, оставляет свои следы слишком часто.

Горная Шория издавна манит к себе туристов. Сюда приезжают не только кузбассовцы, но и любители природы из Новосибирска, Омска, Томска, Челябинска, Норильска, из Прибалтики. Особенно регулярны маршруты

к «Поднебесным зубьям» и в верховья Томи. Туристская база Междуреченска гостеприимно встречает спортсменов. За один год здесь побывало 249 групп — 3000 человек. А сколько так называемых «диких» туристов — это не поддается учету.

Мы долго беседовали с начальником Междуреченского отряда контрольно-спасательной службы Валерием Магденко. Он-то и рассказывал мне о недобрых следах, которые оставляют путешественники. Они рубят деревья, где попало разжигают костры, захламляют места привалов пустыми банками, бутылками, различным мусором. На «Поднебесных зубьях» хищнически растаскивается золотой корень и другие ценные лекарственные травы. В знаменитой Шорской пещере посетители обламывают сталактиты и уносят в качестве сувениров, нанося тем самым непоправимый ущерб уникальному памятнику природы. На деревьях, на скалах остаются так называемые «автографы» типа: «Ося и Киса здесь были».

Что ждет такие места массового паломничества? Предугадать нетрудно. Достаточно вспомнить о других памятниках природы, издавна известных у нас в стране.

Шесть лет назад я впервые побывал возле потухшего вулкана Кара-Даг. Он был доступен тысячам любителей природы. Общение с ним оставило незабываемое впечатление.

Извергнутый вулканом,
Старый лев
Над морем дыбит каменную гриву.
И облако на сумрачной скале
Проходит тенью
Александра Грина.
Вплываю в заповедную страну.
В Долине Роз
Ищу преданий блики.
И, ожидая щедрую волну,
Определяю в камнях сердолики.
О, как мои истоки далеки!
Но нет необходимости в укорё.
Я знаю,
Что извечно для реки
Логичным завершением
Было море.
Сознанию недоступное пока,
Но мне б хотелось
Поздно или рано
Почувствовать,
Как берег родника
Перерастает в берег океана.

Прошлым летом я снова побывал в тех местах. И меня потрясло, что Кара-Дагом, с его скалами и ущельями, чудесными сердоликовыми бухтами у его подножия теперь можно любоваться только издали. Кара-Даг объявлен заповедником, лишь редкие экскур-

сии в сопровождении специалистов попадают на него. Большую часть времени он безлюден совершенно. И сделано это для того, чтобы сохранить флору и фауну, минералогические богатства памятника природы. Сохранить то, что осталось. Ибо большая часть редких растений уже расхищена. В уютных уголках Кара-Дага оставлено столько хлама и мусора туристами и отдыхающими, что самосвалы вывозили этот хлам много лет.

Мера кардинальная и для Кара-Дага, видимо, правильная. Я далек от мысли, что подобное необходимо для «Поднебесных зубьев». Но одно несомненно: растущая индустрия туризма требует большой организаторской и пропагандистской работы.

Последовательно и пристрастно надо заботиться о каждом роднике и каждой реке, о каждом кедровом, сосновом боре и березовом колке, о каждом дереве. Тогда туристские маршруты по Кузбассу станут служить обогащению наших знаний о природе, а не вредить ей.

Сейчас каждая новая поездка что-то добавляет к нашим знаниям о береге разлада. Месяца два назад в Крапивинском районе я побывал на красивой речке Заломной, что впадает в Томь возле деревни Ивановка. Чистая живописная речка с крутыми берегами, с галечными наносами и островками, с глубокими омутами. И вот там довелось встретить источники отнюдь не природного происхождения. Торчит, скажем, из глубин земли железная труба, а почва вокруг нее дышит, поднимающаяся влага образует болотце. Это незакрытые скважины, оставленные геологами в 50-х еще годах, когда здесь велась разведка на нефть.

Берег разлада я ощущал в Томске. В этом самом нижнем городе по течению Томи сказываются последствия выбросов в реку. Водопроводная вода здесь имеет явный привкус химии, даже после кипячения она покрыта радужной пленкой. В трамвае, в автобусе можно встретить человека с ведром или другой емкостью, который везет родниковую воду с окраины.

Затем я побывал в Новосибирском Академгородке. И снова тревога. Новосибирское водохранилище цветет и сильно разрушает берега. Оно не принесло ожидаемых выгод и благ. А ведь Новосибирское водохранилище признано аналогом строящегося Крапивинского гидроузла.

Может быть, дело во мне, в моем слишком одностороннем интересе к городам и весям, где я побывал? Не думаю. Просто беда стала всеобщей, характерной для любого уголка страны и даже планеты.

2. Иду по Северо-Востоку

Я всегда знал, что снова сюда приеду. Я всегда знал, что когда-то надо отчитаться перед этим суровым краем, который однажды, на пороге моей возрастной зрелости, потряс простором душу, выстудил ее ледяным беспощадным светом, поглотил навсегда иллюзии и миражи, высвободив чистый вес поступка, жеста, слова. И если я — поэт, то впервые осознал это здесь, на северо-восточной окраине России, где символичен сам характер людской заботы — добыть крупницу драгоценного металла в толще породы и песков, привычно именуемой на приисковых полигонах горной массой.

В этот раз я пробыл на Колыме 42 дня. Они как раз вписались в короткое северное лето. Я захватил быстрый расцвет природы, а когда уезжал, на склонах сопков появились все признаки ранней осени.

В середине июля вдруг начался заморозок и на зеленую листву и травостой Сусуманского района упал снег. Он лежал несколько дней. Листва пожухла, но потом оправилась и снова пошла в рост. Природа севера способна переносить такие сюрпризы.

Лето — страдная пора золотого материка.

Промысловый сезон в разгаре. К нему готовились исподволь. В пургу, в морозы везли автопоезда материалы и технику на глубинные участки. Ремонтировались бульдозеры, горное оборудование. И вот с первой талой водой драги и гидрозелеваторы начинают промывку.

Да, изменились горняцкие полигоны. Обогагательные установки появились на каждом прииске. Бывшие горные управления стали горнообогагательными комбинатами.

Изменилась и Колымская трасса — две тысячи километров по огромному замкнутому кольцу между двумя океанами. Тысячи автомашин добавились на трассе в связи со строительством Колымской ГЭС. Слишком узкое полотно дороги расширяется, чтобы пропустить гигантские грузы. Перестраиваются мосты.

За годы моей разлуки с краем вышло много новых книг, изменился, уточнился взгляд на его историю. В связи с этим серьезному испытанию подверглась поэма «Борискин ключ» — мое первое и самое мне дорогое произведение о Севере.

Дело в том, что историческую основу поэмы составляет предание о старателе Бориске, который в начале века прошел сотни километров по дикой безлюдной тайге, в устье реки Среднекан, притока Колымы, нашел богатое месторождение золота и мыл его в шурфе до тех пор, пока не умер с голода. Там в шурфе он якобы и был похоро-

Меня легенда вполне устраивала. А отсутствие сведений и подробностей давало пищу воображению. Я придумал Бориске соратника, товарища — Степана, который погибает в пути к золотому месторождению.

Окончательно убедил меня случай, когда один из попутчиков вновь рассказал легенду о Бориске в ее исконном, первоначальном

Что же произошло? Прежде пастухи-якуты и тунгусы, позднее старатели и геологи стремились жить с природой в мире, не сердить ее понапрасну. В названиях ручьев, рек, перевалов, вершин, озер это отражалось — они дружелюбны, ласковы. Но вот пришли гидростроители, вооруженные мощной техникой. Пришли покорять, изменять природу. Им некогда, они спешат. У них за спиной немало рукотворных морей, немало их и впереди. Их отношения с окружающей природой иные. Они проклинали ключ, не задумываясь, ибо он

мешает, приносит убытки, затягивает сроки строительства. Они стремятся его обуздать и, видимо, цели своей добьются.

И опять я ничего не буду менять в поэме «Борискин ключ». Просто надо писать новые вещи, в которых и отразить эти изменения в отношениях с природой.

Еще в ранних журналистских публикациях я назвал реку Колыму младшей сестрой Томи. Почему именно ее? В принципе все реки родственны друг другу. Они дети одной матери — земли. Выбор Колымы в данном случае обусловлен личным опытом, судьбой, степенью знакомства, привязанности, сопричастности жизни той или иной реки. Случилось так, что после Томи именно Колыма коснулась моего сердца, стала милой рекой, текущей на милой земле. Однако, помимо субъективных, я могу назвать и объективные факторы, согласно которым Колыма действительно сестра Томи.

Она пересекает богатейший горняцкий край. Несмотря на разницу климатических поясов, у земли Кузнецкой и земли Колымской похожий облик, одинаковые проблемы, связанные с деятельностью человека по добыче подземных кладов. Оба речных бассейна переживают ответственный момент, обе реки готовятся к перекрытию. Правда, цели возведения плотин разные, соответствующие степени освоенности, обжитости районов.

Красивинское водохранилище на Томи создается из санитарных соображений, в первую очередь, чтобы ликвидировать дефицит чистой воды, наладив ее равномерный круглогодичный сброс. На Колыме энергетические проблемы выходят на первый план. Северо-Востоку нужна дешевая электроэнергия. Колымская ГЭС — самая мощная на Севере гидроэлектростанция. Это уникальное сооружение на месте так называемых верхних колымских порогов, в узком гранитном ущелье. Стор позволил создать 130-метровую каменно-набросную плотину и водохранилище.

Здание станции подземное. Только под землей можно вести круглый год работы даже при шестидесятиградусных морозах. Вырубить станцию в гранитной скале — это новое слово гидростроителей. Я побывал внутри этой скалы. Машинный зал размером с многоэтажный дом находится на значительном удалении от поверхности, к нему ведут просторные тоннели, в которых свободно размещаются небольшие экскаваторы и по которым идут большегрузные машины. В будущем стены подземного сооружения будут облицованы плиткой. Появятся красочные витражи с электроподсветом. По красоте помещения и переходы станции будут напоминать станции Московского метрополитена.

Красив и современен поселок гидростроителей — Синегорье. Лет десять назад я видел, как он начинался, прилетел сюда на вертолете вместе с начальником стройки Юрием Иосифовичем Фриштером и его соратниками. Было это в последней декаде мая. Помнится, как плыли под нами хребты, покрытые снегом. В зависимости от положения солнца склоны меняют оттенки — от голубого до фиолетового и сиреневого. В основе один цвет — синий. «Синегорье» — название не только поэтическое, но и точное.

В том давнем перелете была интересная история с одним моим стихотворением. Вертолет приземлился на озере Джека Лондона. Фриштер детально ознакомился с окрестностями стройки, подбирал места для пионерских лагерей и зон отдыха строителей.

Озеро Джека Лондона — главное в целой системе проточных озер — бурным перекатом с огромными валунами соединяется с озером Танцующих Хариусов. На середине озера островок, там метеостанция. На шум вертолета из домика метеостанции выскочили ее работники — Борис с женой Наташей. Мы первые люди, которых они видят после долгой зимовки. Им с осени завезли сюда продовольствие, аппаратуру, и они остаются одни до весны, поддерживая связь с миром по радио, выполняя очень важную работу.

— Как же все-таки это выглядит летом? — спрашивает Фриштер, окидывая взглядом заснеженные еще берега и сопки.

Один из спутников, журналист, взял начальника стройки под руку, подвел ко мне:

— Вот у него есть стихотворение «Озеро Танцующих Хариусов», оно напечатано в книжке, а книжка лежит в кармане.

Все повернулись ко мне, потребовали:

— Читай!

Прочсть «Озеро Танцующих Хариусов» на озере Танцующих Хариусов перед столь авторитетной аудиторией — о таком я и не мечтал. Мне казалось, что даже сопки насторожились. Никогда в жизни так не волновался.

А ночи не было. Был только сумрак синий, Да на вершине чуть заметный иней, Да озера незыблемая гладь. Но вот заря зарделась недалеко, И озеро рванулось ей навстречу, И перекаат запел на ста наречьях, И хариусы вышли танцевать. Я — зритель небывалого балета. Я в зал стозвонный впущен без билета. Мне это место кажется отменным На валуне, у стен Аборигена, Где рампа утра радугу лучит. А позади, по сопкам и пригоркам, Шумит кустов зеленая галерка, И по ущельям каменным торопко

На зрелище стекаются ключи.
Танцуют хариусы. Как они танцуют!
Они как будто белый свет целуют.
Летят по воздуху и — разом замирают,
Лишь плавников подвижны веера.
На дно ныряют,
Толщу замеряют,
Зарю хватают,
В воду окунают,
И мчатся за полетом комара.

И вот сейчас, спустя десять лет, быстроходный лайнер ТУ-104 доставляет меня из Магадана в Синегорье, и первый, кого я встречаю, — Юрий Иосифович Фриштер — начальник строительства. Мы поговорили, вспомнили тот вертолетный перелет, начало стройки, и Фриштер не без гордости произнес:

— А теперь у нас свой аэропорт.

Да, это чудо — в глуши, куда не было и гравийной дороги, вырос поселок со своим аэропортом.

3. Абориген

В глубине Колымского нагорья, в долине Колымы-реки, недалеко от поселка гидростроителей Синегорье, в краю тысяч высокогорных озер, среди которых знаменитые — озеро Джека Лондона и озеро Танцующих Хариусов, высится пик Абориген — самая высокая точка Северо-Востока страны. С ним связано много легенд и преданий, на его остром шпиле формируется погода. Не так давно Абориген покорен альпинистами, однако в глазах северян он остается мрачным и таинственным хозяином края, порождая новые домыслы и новые легенды.

Абориген давно занимает мое воображение. Само его название символично: Абориген — это значит коренной житель. Я его воспринимаю как символ северной природы, символ огромных сибирских и дальневосточных пространств, всей территории восточнее Урала.

Из гордости чураясь перемен,
На небе обозначив
Профиль четкий,
Величественный пик Абориген
Стоит над Колымой
И над Чукоткой.

Абориген — хозяин этих мест.
Ему подвластны
Горные громады.
Он рекам, возникающим окрест,
Хрустальные роняет водопады.

Он на долину опускает взор
И ежели слегка его нахмурит,
То по всему урочищу озер
Не утихают
Штормовые бури.

Он тучу выдохнул —
Хорошего не жди!
Он бьет изломом молнии жестокой,
И — грозовые рушатся дожди,
Идет циклон
По Северо-Востоку.

Для меня берег разлада продлился и по северной земле:

Когда земля —
С шиповником,
Цветами,
Ручьями,
Ягелем,
Брусничкой,
Муравьями —
Застонет под бульдозерным ножом,
Когда она,
Зачеркнутая трассой,
Становится безликой горной массой,
Что к нам вернется в слитке золотом?
Как ты ранимо, северное лето!
Теперь я сердцем ощущаю это,
Как медленно
Здесь дерево растет.
Я знаю,
Как мучительно и трудно
Следы от гусениц
Залечивает тундра,
Когда по ней промчится вездеход.
Иду к тебе
По берегу разлада.
Отвалов угловатые громады,
И вырубки,
И гари за спиной.
Я ждал, что Колыма,
В житейской прозе,
— Зачем мешаешь? —
Отчужденно спросит,
Она меня спросила:
— Что с тобой?

Знаменитое озеро Танцующих Хариусов тоже потерпело ущерб. Об этом мне рассказал Владимир Павлович Будаев — директор Оротуканского лесхоза. Дело, по его словам, было так: собрались руководители предприятий, решили проложить хорошую безопасную дорогу на озеро Джека Лондона. Лесничий присутствовал при этом. Он взял слово и всех озадачил заявлением, что хорошая дорога погубит озеро и лучше ее не прокладывать. А уж если прокладывать, то сразу же начать

строить базу отдыха, ибо хлынет на озеро народ.

Но дорогу все-таки проложили, а базу отдыха не построили. Все случилось так, как предсказывал Будаев, как до того случилось на Кара-Даге, у нас на «Поднебесных зубьях». Масса неорганизованных туристов захлмила, загадила красивейшее место Магаданской области. Будаев разъяснил мне, как иссякли лесные богатства края. «Сохранять нечего, можно только восстанавливать — говорит он. — А восстанавливать в условиях Севера, на вечной мерзлоте, где все процессы роста замедлены, — во много раз труднее, чем на материке».

Позднее я встречался с биологами Севера в Магадане. Вот их точка зрения: распространено мнение, что богатства Севера неиссякаемы. Это миф. Почвенный покров Колымы и Чукотки идет на убыль. Скоро энергия ничего не будет стоить, а биологические ресурсы станут дефицитом.

Биологическая станция «Абориген» расположена в районе Колымской ГЭС и взяла на себя задачу изучать изменения животного и растительного мира, почвенного покрова, распространения мерзлоты в зависимости от создания нового водохранилища. Вся деятельность станции, которую возглавил Даниил Иосифович Берман, направлена на вопросы экологии.

Станция — группа красивых домиков, собранных руками самих ученых, на берегу ручья, который называется Олень. Ручей все

время шумит в наледи, которая и летом не тает. В шуме ручья Олень улавливается мелодия. Причем разные люди слышат разные мелодии. Сразу от станции подъем на массив Аборигена. Однажды его пересек вездеход, завезя аппаратуру на высокогорный пункт. След от вездехода все время расширяется, по нему стекает вода. Образуется провал.

Колымская ГЭС Северо-Востоку жизненно необходима. Она не только дает новый толчок развитию экономики края, она, я думаю, послужит и делу охраны природы.

Чтобы добыть грамм драгоценного металла, приходится перерабатывать тонны горной массы.

Многочисленные отвалы нет смысла сейчас рекультивировать, они безусловно подвергнутся вторичной промывке. Драги сейчас перепашивают свои полигоны по четвертому разу. Дешевая электроэнергия позволит создать более совершенную технику, которая полностью извлечет золото. И тогда участки надо рекультивировать и вернуть природе.

Закончить хочется строфами из поэмы «Берега»:

Ни к удаче уйти, ни с мечтой распрощаться.
Ты прислушайся, Томь, к моим гулким шагам,
Потому что, куда б ни пришлось

возвращаться,

Я всегда возвращаюсь к твоим берегам,
Потому что, какую бы даль ни осилил,
На какой бы черте ни ступала нога,
Твердо знаю, пока я иду по России,
У меня под ногами твои берега.

СПЕКТАКЛИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТЕАТР И ДЕТИ

С первых лет существования Советской власти театр в нашей стране стал принимать горячее участие в духовной, воспитательной и образовательной работе с подрастающим поколением. Уже в марте 1918 года при Народном Комиссариате просвещения были образованы «Бюро и Совет детского театра и детских празднеств». В голодной, нищей, разоренной стране наряду с насущнейшими вопросами революции — мир, хлеб, земля — встал вопрос о необходимости создания специальных театров для юного зрителя, театров, где, выражаясь словами А. В. Луначарского, первого наркома просвещения молодой Советской республики, — «...законченными художниками-артистами давались бы в прекрасной постановке детские пьесы, рассчитанные в особенности на наиболее нежные возрасты».

Театр был призван Революцией стать надежным союзником и активным помощником государства, семьи и школы в ответственнойшем деле формирования личности юных граждан Советской страны. Театры, обращенные к детской аудитории, появились во многих городах страны, в них были направлены работать лучшие режиссеры, художники и артисты, ведущие драматурги пишут для них пьесы.

В настоящее время в стране насчитывается 160 профессиональных театров для юных зрителей. В систематическую плановую работу с юными зрителями включились и «взрослые» театры, которые каждый сезон готовят для детей два-три спектакля. Если раньше

«взрослые» театры ставили детские спектакли и, главным образом, сказки к зимним и весенним школьным каникулам, то теперь они еще принимают участие в неделе «Театр и дети», которая проводится в конце ноября. В минувшем году неделя «Театр и дети» проводилась в седьмой раз, кроме того, театр оперетты в дни весенних каникул обязательно организует неделю музыки для детей и юношества. Всего же в области шесть театров показывают спектакли для детей: два кукольных, три драматических, театр оперетты. Ставя спектакли для юных зрителей, режиссеры, артисты стремятся к тому, чтобы в них соединились функции художнические и глубоко педагогические, воспитательные.

Десятки тысяч юных зрителей бывают в течение года на детских спектаклях. Возможно, и не о чем особенно беспокоиться? Эстетическое воспитание детей поставлено неплохо? Нет! — говорят, деятели искусства. Надо сценическое искусство полнее поставить на службу формирования духовного облика будущих строителей коммунизма, сделать театр подлинно действенной школой идейного и нравственного воспитания подрастающих граждан. На эту тему автор заметок беседует с режиссером областного драматического театра имени А. В. Луначарского Л. А. Шаловым.

Л. А. Шалов окончил студию при Центральном детском театре, пять лет работал в ТЮЗе. На сцене областного театра поставил несколько спектаклей для юных зрителей.

ВРЕМЯ И БРЕМЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

— Леонид Александрович. Ваша точка зрения на роль спектакля в воспитании ребенка?

— Детскому театру столько же лет, сколько и государству нашему, и столько же лет идут споры, как воспитывать детей средствами искусства и что в этом воспитании должно быть главным.

Наверное, у каждого режиссера через какое-то время вырабатывается своя точка зрения, свой взгляд на ту или иную проблему, и он начинает сам себе задавать вопросы, ну, например, такие: осознание долга и чувство долга, осознание ответственности и чувство ответственности — это одно и то же? По формулировкам понятия очень близкие, но по существу это совсем не одно и то же.

Осознание долга еще не означает, что человек всегда будет следовать ему в своих поступках. На вопрос, что такое хорошо и что такое плохо, не сомневаюсь, каждый ребенок ответит правильно, а вот будет ли он в своих поступках всегда справедлив, честен, добр, ответствен, мужествен?

И вот здесь многое может сделать театр, помогая воспитывать у детей именно чувство ответственности, долга, доброту, любовь ко всему живому, природе, то есть душевный запрет на плохой поступок.

Народная мудрость гласит: учи дитя, пока оно лежит поперек лавки. Именно с самого раннего возраста надо воспитывать в детях невозможность причинить боль другому существу, сначала, может быть, кошке, кукле, если хотите. Потом это естественно будет переходить на отношения с близкими людьми, с товарищами. А дальше — шире, масштабнее — большой «народ» не должен обижать меньший.

Это — как круги на воде, когда бросишь в нее камешек: сначала появляются круги маленькие, потом они делаются больше и больше, захватывая новые поверхности и слои...

Роль таких камешков, вызывающих в реагирующих душах ответную реакцию — круги, должны играть произведения искусства.

— Но эти же чувства стремятся воспитать в ребенке семья, школа...

— Конечно, но театр делает это по-своему. Средствами искусства исподволь внушает он детям важные истины, помогает вырабатывать принципы, которыми они в дальнейшем должны руководствоваться в жизни. И здесь первейшее условие — ребята никак не должны ощущать на спектакле, что их учат.

Суть нашей профессии — игра на сцене. В детском спектакле она приобретает свое первоначальное значение. Игра в жизни ребенка — изначальный творческий момент. Так считают психологи. В играх ребенок познает мир. Вот и спектакль вовлекает его в игру. Когда мы ставили спектакль «Горсть бриллиантов», то свои художнические задачи определили так — это должна быть игра в революционный детектив.

Драматургия пьесы не позволяла достичь в спектакле каких-то реалистических высот, реставрировать конкретный кусок революционного прошлого нашей Родины. Мы поставили спектакль, в котором каждый персонаж оказывался носителем определенного, ярко выраженного нравственного качества. Если, например, это был белый офицер, то по всем повадкам это был действительно белый офицер: жестокий, лживый, коварный. А если герой положительный, то он, разумеется, был храбр, добр и на вид симпатичен.

Мы предложили юным зрителям эту игру, и они с радостью приняли наши условия, а по ходу спектакля удалось им сообщить и наши соображения о том, что мы считаем подлинным героизмом, какой должна быть истинная доброта.

В сказке «Иван да Марья» фольклорная основа пьесы позволила говорить с ребятами языком традиционных персонажей. Героиня — добрая, сестры ее непременно жадные и злые. Иванушка — смелый, находчивый, добрый молодец, а чудище, конечно же, поганое.

Кстати, есть определенный подход к злым персонажам в детских спектаклях. Злой персонаж не должен пугать, психологически травмировать ребенка. Мы всегда должны убедительно говорить с юными зрителями о силе

добра. Нужно, чтобы любая баба-яга казалась в своих поступках несостоятельной.

— Какие у Вас пожелания школе, семье в их взаимоотношениях с театром?

— Педагогам необходимо готовить ребят к посещению театра, к восприятию спектакля. В книгах можно найти массу любопытных сведений о театрах разных эпох, жанрах драматургических произведений. Много других любопытных сведений можно сообщить ребятам, которые заставят их как-то по-иному взглянуть на труд актеров, на сценическое искусство.

— Не лучше ли это делать самому театру?

— Мы тоже пытаемся разговаривать с ребятами о театре. Получаем приглашения на встречи в школу. За редким исключением, картина этих встреч такова: учителя, пионервожатые «сгоняют» ребят в зал, а те норовят убежать. Или идут посмотреть на «живого» актера. И часто в зале оказываются те ребята, которые спектакля не видели, предметного разговора не получается.

— Какую помощь ожидаете от родителей?

— Чтобы они смотрели спектакли вместе со своими детьми, разговаривали с ними потом об этих спектаклях. Но часто можно наблюдать такую картину: на сцене идет детский спектакль, в зале сидят дети, а в вестибюле томятся родители. Спрашиваю у иных пап и мам, почему они не с детьми в зале, и слышу в ответ — так ведь спектакль-то для детей.

Я считаю, что если сын увидел фильм, спектакль, прочитал книгу, а у отца на них не нашлось времени, считайте, что в этой семье уже образовался пробел в воспитании ребенка.

Основоположник и теоретик детского театра в нашей стране Александр Александрович Брянцев театры юного зрителя называл «театрами особого назначения». Наша обязанность, взрослых людей, добиваться, чтобы больше красоты открывалось ребенку в детстве, тогда тоньше, совершеннее станет его эстетическое восприятие, полнее и сознательнее его жизнь, мужественнее и богаче его душа.

«БУДУ ТВОИМ ПРЕДАННЫМ ДРУГОМ, ТЕАТРУ!»

Как-то в ходе одной из недель «Театр и дети» редакция газеты «Кузбасс» вместе с Кемеровским городским отделом народного образования в нескольких школах города провела анкету. Ребятам разных классов предлагалось ответить на несколько вопросов, связанных с театром, искусством.

И вот передо мной стопка листочков, тетрадок. Любопытно было познакомиться, с каким чувством в массе своей школьники воспринимают сценическое искусство, чего ждут от него.

Первый вопрос был традиционным: «Любишь ли ты ходить в театр и как часто ходишь? Если ходишь редко, то почему?» На него подавляющее большинство учащихся ответило, что любят театр и бывают в нем сравнительно часто. А одна девятиклассница написала так: «Странный вопрос, разве можно не любить театр?!».

Но далеко не все ребята объяснились в любви музе Мельпомене. Некоторые из них (таких немало), особенно мальчишки, откровенно заявили, что кино им интереснее. Пятиклассник написал: «Хожу редко, потому что мало бывает хороших детских спектаклей».

Другие ребята и любят театр, но... «Люблю театр, а бываю в нем редко, так как не хватает времени». Об этом написали и четвероклассники, и десятиклассники, примерно каждый третий. Здесь есть над чем подумать и учителям, и семье. Среди других мотивировок часто встречается такая: «Очень люблю театр, но бываю в нем редко, так как родители одну не отпускают, а сами в театр не ходят». Трудно понять таких родителей — не отпускать семиклассницу одну на дневной спектакль. Другое дело, конечно, если речь идет о вечернем...

Следующий вопрос формулировался так: «Какие спектакли видел в прошлом и нынешнем сезоне? Что тебе в них понравилось, а что нет?» Следует сказать, что ни одно из названий постановок не только детских, но и взрослых, не прошло мимо внимания школьников. В анкетах, которые заполнили пятиклассники, рядом с «Тайной Черного озера»

стояли «Сильва», «Марица», «Донна Люция», «Взрослые люди» и др. Здесь ограничение «детям до 16 лет...», увы, не действует. И этому обстоятельству вряд ли приходится радоваться. Складывается впечатление, что никто театральными интересами детей, в соответствии с их возрастом, не руководит. Водят на то, на что принес билеты уполномоченный по их распространению.

Ребята отдают должное игре актеров, работе художника, пишут о понравившейся музыке. Есть у них любимые актеры. «У меня есть любимые актеры А. К. Бобров и Н. Л. Коносевиц. Всегда люблю смотреть спектакли с их участием», — пишет восьмиклассник.

А вот на вопрос: «Встретился ли ты на спектаклях с любимыми героями?» большинство ответило отрицательно. Правда, о спектакле областного драматического театра «Тайна Черного озера» писалось так: «Мне понравился образ Иванушки — сильного и трудолюбивого парня, который всегда находит выход из сложного положения. Это мой любимый герой».

Зато следующий вопрос: «О встрече на сцене с какими литературными героями ты мечтаешь?» вызвал лавину предложений. Ребята хотят увидеть в спектаклях веселого Незнайку, Димку-Невидимку, Чука и Гека, Тимура с его командой, Ваню Солнцева из «Сына полка», пионера-героя Володю Дубинина, Павку Корчагина, молодого гвардейца, Алексея Мересьева из «Повести о настоящем человеке», Дубровского, Тараса Бульбу, Тилу Уленшпигеля. Список они предлагают отличный, и им не откажешь во вкусе — ставить предлагается настоящую литературу.

Очень многие ребята назвали в числе героев храбрых и неунывающих мушкетеров А. Дюма. Они написали, что хотели бы вновь встретиться с ними на сцене. Спектакль «Три мушкетера», шедший на сцене областного драмтеатра, не удовлетворил тягу подростков к благородству, бесстрашному герою.

Театрам надо смелее браться за постановку классических произведений. В лице юных зрителей они найдут благородных союзников.

На спектакли школьники предпочитают ходить классом, с группой друзей или с родите-

лями, потому что «потом можно обменяться мнениями».

На вопрос: «Что бы, по-твоему, театр мог устраивать для школьников, кроме показа спектаклей?» дети высказались за самую широкую программу контактов с работниками искусства. Младшие ребята предлагают в антрактах проводить игры, аттракционы, организовать театральные кружки. Старшие ребята за то, чтобы проводить совместные обсуждения вопросов, волнующих молодежь.

В одной из школ провели среди десятиклассников сочинение на тему: «Театр в моей жизни». Очень интересные мысли и признания встречались в этих сочинениях.

«Мы благодарны Шекспиру за то, что он создал для нас образы Ромео и Джульетты. Эти имена стали нарицательными. Для многих юношей Ромео является идеалом, ну а каждая девушка в душе считает себя Джульеттой».

«Самыми моими любимыми спектаклями являются те, которые рассказывают о жизни молодежи, о моих сверстниках. Всегда ведь интересно посмотреть на себя со стороны и задать вопрос: а как бы я поступила в таком случае? И стараешься хоть немножко походить на того героя, который тебе понравился».

«Недавно наша знакомая купила билеты в театр оперетты и пришла пригласить моих родителей. Я присутствовала при их разговоре и была поражена: оказывается, моя мама не была в театре уже двадцать лет, со времени своего замужества, — все что-то мешало ей пойти».

«Каждый раз, когда иду на спектакль, думаю, что же сегодня откроется мне на сцене, какой урок преподнесет мне театр сегодня, чему научит в этот раз. Я буду всегда твоим поклонником, твоим преданным другом, театр!».

Анкеты, сочинения школьников свидетельствуют, что среди юных зрителей много подлинных любителей искусства. Крепи с ними дружбу, театр!

ПЛЮС ШКОЛА И СЕМЬЯ

В ходе недели «Театр и дети» обязательно проводятся конференции, встречи работников искусства с педагогами, родителями, где об-

суждаются различные аспекты эстетического воспитания юных зрителей. Педагогов, общественность волнует то обстоятельство, что все более заметным становится разрыв между образованием и воспитанием. Нравственным воспитанием, формированием личности молодого человека школа занимается явно недостаточно. И театр может здесь оказать ей неоценимую помощь.

На конференциях говорится о невысоком уровне эстетической подготовки школьников. Пока театр ни в каком виде не входит в школьную программу. Даже в программы факультативов не включено изучение основ сценического искусства. Для многих ребят язык театра часто оказывается непонятным. И здесь не каждый учитель в состоянии прийти ребятам на помощь.

Этот «заколдованный круг» надо разрывать. Еще К. Маркс писал: «Если ты хочешь наслаждаться искусством, то ты должен быть художественно образованным человеком».

Театральным образованием школе еще только предстоит овладеть. Педагоги просят включить для них в программы различных семинаров и курсов повышения квалификации лекции о современном театре.

Приблизиться к театру должны и учебные заведения, готовящие будущих учителей, — Кемеровский государственный университет, Новокузнецкий педагогический институт, педагогические училища.

Есть еще одна проблема, волнующая как педагогов, так и работников искусства: как водить ребят в театр — школой, классом, небольшими группами? Школе, особенно отдаленной, удобны массовые культпоходы, когда заказываются автобусы. Здесь и шефы готовы прийти на помощь. Но спектакль, интерес-

ный старшеклассникам, вряд ли заинтересует пятиклассников. А с другой стороны, зал, заполненный одними пятиклассниками или семиклассниками, очень тяжелый зал — шумный, неуправляемый, часто с неверной реакцией на спектакль.

Работники искусства говорят, что наиболее хорош зал для восприятия школьного спектакля, когда в нем преобладают родители с детьми и группы ребят с учителями. В анкетах ребята писали, что они предпочитают ходить на спектакли классом или с группой друзей, чтобы можно было потом обменяться впечатлениями. К этому суждению тоже следует прислушаться.

Как наиболее оптимально заполнить зрительный зал на спектаклях для школьников — вопрос не праздный, а вытекающий из существа проблемы «Театр и дети». На этот вопрос толковых рекомендаций ждут и работники искусства, и работники органов народного образования. Совершенно не изучен и такой вопрос: каковы особенности коллективного восприятия искусства детьми подросткового возраста? И здесь театрам и школе тоже могли бы помочь преподаватели трех кафедр педагогики, имеющих в высших учебных заведениях области.

У проблемы «Театр и дети» много аспектов, и ни один из них не назовешь второстепенным. Чтобы на полную мощность включить в воспитательную работу сценическое искусство, нужно тщательно отрегулировать каждый винтик во взаимоотношениях театра, школы, семьи.

Театр был и остается одним из важнейших рычагов идейного влияния на все группы молодежи, главным средством ее эстетического воспитания.



СКАЖУ СВОЁ МНЕНИЕ

«Читатель, бесспорно, полюбит эту книгу и ее героев, наших современников»...

Откуда это? Из обычной рецензии. Сколько лет уже критики привычно ссылаются на мнение читателя. Как будто бы оно им известно.

Ну, а что же в самом деле думает о художественном произведении читатель? Увы, в последние годы его голос почти не слышен в нашей литературной периодике. Лишь изредка появляются заметки «по поводу». Дотошный инженер обвинит автора «производственного романа» в незнании специальных терминов или технологии. Восьмиклассница, прочитав повесть на «морально-этическую тему», спросит: «А все-таки — что же такое любовь?» Пенсионерка поблагодарит писателя за правду и точность: «С моей соседкой все было почти так же»...

Я, конечно, утрирую. И все же не совсем. Мы говорим: читатель вырос. Так давайте же послушаем этого читателя. Дадим ему слово.

...Когда вышел сборник «Дыхание земли родимой» (Кемерово, 1979), я попросил написать о нем отзывы, сто студентов филологического факультета Кемеровского университета. Тогда они еще только переступили порог второго курса. И, конечно, еще не стали филологами. А вчера они были школьниками, рабочими, пионервожатыми, библиотекарями, солдатами, лаборантами... Я выписал эти профессии из их личных дел.

Отзывы были разные и — похожие. Во всех выходило на первый план стремление высказать не только свое отношение к книге, но и к литературе вообще, к сложным проблемам жизни, осмысляемым поэзией.

Отзывы эти не нуждаются в комментариях. Читатель легко различит и крайнюю субъективность иных замечаний, хотя, может быть, они тем и интересны. Легко заметить и другое: порой студенты выражают свои мысли, прибегая к литературно-критическим штампам; это не только их вина и беда.

Увы, все отзывы напечатать не удастся. Пусть прозвучат по-своему типичные.

«Дыхание земли родимой»... Уже само название говорит за себя. И пусть много было сказано великими поэтами прекрасных слов о родине, читая стихи этого сборника, вновь ощущаешь волнение — порою грусть, порою радость, порою еще что-то — непонятное, но очень тебе дорогое. Много общего в этих стихах, но тем не менее у каждого они свои — как у каждого человека есть свои поля, реки, солнце, сенокос... (Светлана Тимофеева).

Поэтический мир Виктора Баянова обширен, сложен и интересен. И по-настоящему современен. Хотя голос поэта тих, задушевен. Он говорит о внутренней сердечной жизни человека, по-своему вбирающей в себя жизнь страны, края.

Читаешь Баянова, и перед тобой проходит целая галерея портретов русских работающих людей: неторопливые старики, веселые и озорные деревенские девчата, мальчишки, вырастающие в прочно стоящих на земле мужики. Кажется, в самое их сердце заглянул поэт.

Слова у Баянова весомы и неторопливы. Как будто радостное чудо происходит с обычными словами — за каждым из них неожиданно видишь многое:

Где-то есть такие ж кедр с соснами,
Где-то есть такие ж зимы с веснами...

Виктор Баянов неотделим от нашей русской Кузнецкой земли: у нее он учится красоте, доброте.

И еще я думаю о силе поэтического слова. Можно написать десятки статей о любви к родине, а можно — одно стихотворение. Если это хорошее стихотворение, оно долго будет звучать в твоей душе (Ирина Терехина).

* * *

Сначала, как эпиграф, строки Михаила Небогатова:

Советов поучительных
Не дам. Не обессудь.
Я сам ищу мучительно,
Где видимость, где суть.

Я тоже не буду никому давать советов. Я открываю сборник «Дыхание земли родимой» и пытаюсь понять, «где видимость, где суть».

С. 103. Николай Колмогоров. Время действия в его стихах всегда либо осень, либо весна. Или это неудачная подборка, или поэт только в эти времена года испытывает прилив творческих сил. Непонятно.

С. 108. Виталий Креков. У меня создалось впечатление, что почти все его стихи незаконченные, оборваны на полуслове. Их можно продолжать до бесконечности. Поэт, что увидел, то и рифмует.

С. 114. Павел Майский. Сразу вижу вольное или невольное заимствование — есенинский «огонь рябины».

Ни у одного из прочитанных мною поэтов нет пока своего, индивидуального.

Но в награду на с. 121 Владимир Матвеев подарил мне свои литературные пародии. Вот тут я смеялась от души. Сколько тонкого юмора! Некоторые строчки сразу запали в память (Л а р и с а Ш а а д).

* * *

В сборнике тридцать пять поэтов. Но я внимательно перечитаю сейчас стихи Владимира Иванова. Почему именно его? Потому что раньше он жил в нашем городе Березовском, работал в редакции газеты «За коммунизм». Я считаю, что одно из стихотворений Иванова, напечатанное в сборнике, посвящено моему родному городу:

Мой город...
Как быстро обжился
Среди вековых лесов!

И сразу возникает знакомая, кстати говоря, типично сибирская картина — вековая тайга расступилась, освободив место городкам. Но она еще не ушла, она здесь, рядом...

Стихи Владимира Иванова глубоко лиричны, особенно когда он говорит о природе. По моему, очень лирична также обращенная к природе поэзия Павла Майского и Николая Колмогорова. Хорошо сказал Колмогоров о назначении поэзии:

Я вас вскормил, слова. Теперь идите.
Пусть вами лакомятся в ягодниках строк.

Созрейте костяникой. Утолите
Лесною влагой всех, кто занемог.

(Надежда Койнова.)

* * *

Да, некоторые отзывы как бы спорят между собой, хотя авторы их, понятно, даже не подозревали об этом. Мне это показалось интересным. Не только потому, что не стоит стричь читателя под одну гребенку. Перед нами и своеобразный результат эстетического воспитания. Вот две девушки-ровесницы, обе недавно закончили школу. Читали, в принципе, одни и те же книги, писали сочинения на одну тему. Но как по-разному они судят сегодня об одних и тех же стихах!

* * *

В предисловии сказано, что в этот сборник вошли лучшие стихи поэтов Кузбасса. Когда читаешь Виктора Баянова, Евгения Буравлева, Валерия Зубарева, Михаила Небогатова, соглашаешься: «это так». Но вот стихотворение Игоря Гурьянова «Дышу морем...» Мне трудно это назвать поэзией. Когда встречаешь подобное «произведение» в сборнике, думаешь: как оно здесь появилось? По моему, нужно было строже подойти к подбору стихов (О л ь г а К и з ь л ы к).

* * *

Игорь Гурьянов... Его поэзия привлекает меня необычностью формы — предельной сжатостью, лаконизмом. Тем, что порой в двух строчках я чувствую глубокий смысл, найденную истину:

День это я *снаружи
ночь это я внутри

Герой стихов Игоря Гурьянова ощущает себя органической частицей огромной Вселенной:

Смотрю на звезды
вижу
с той звезды
кто-то смотрит
на меня
улыбаемся
друг другу

Вот и все стихотворение. О чем оно? О взаимопонимании людей разных миров, о том, что улыбка — символ любви и дружбы — является основой и этой, космической, связи.

Человек рано или поздно чувствует свою слитность с природой, осознает родство с ней:

Дышу морем
 чувствую
рудименты жабр
рудименты крыльев
о радости
 влияние хвоста
где ты

Это верно замечено: где-то в глубинах глубин нашего сознания бьется воспоминание о том, что увидели, поняли далекие предки...

Вновь поэт задумывается: что же такое человек? Песчинка во Вселенной. Но он и велик. Его душа — бездна. Человек тянется к этой тайне. Разгадку часто дает любовь:

Я увидел твоё лицо
как будто
 постоял
над бездной
только головокружение
осталось

Старые вопросы о смысле жизни и времени волнуют поэта. И человек в стихах Игоря Гурьянова идет дальше... (Наташа Сарычева).

* * *

В сборнике представлены стихи многих, но лишь немногие из них, на мой взгляд, можно выделить. На страницах этой книги я встретил выражение «прелесть смысла», которое принадлежит поэту С. Донбаю. Но, как ни парадоксально, именно в его стихах я и не заметил этой прелести. Точно так же я могу сказать и о других, особенно молодых поэтах (Сергей Лепихин).

* * *

Примечательно многообразие тем, которые волнуют Сергея Донбая. Труд и природа, любовь, давно ушедшее детство... Поэт во всем старается найти «прелесть смысла» (не случайно так назван один из его сборников). Это и объединяет стихи Сергея Донбая. Он пытается разобраться, открыть и понять нечто главное, важное. Составляющее суть вещей.

Вечная тема любви. Она своеобразно преломляется в стихотворении «Прислушка». Здесь есть неожиданность открытия:

Не убегай! Я знаю, где ты
Торопишь корабли.
Деревья, звезды, ветры —
Товарищи мои.

Любовь здесь чувство всеобъемлющее (оно сокрыто в самой природе), стремительное и древнее.

А вот стихотворение совсем иное. Хотя тоже о любви. «Есть на земле такие женщины...» Это раздумье. Раздумье о том, что порой в повседневной суете мы не можем разглядеть главное, сокровенное в человеке, отличить ложное от истинного.

Есть на земле такие женщины:
При свете дня не видим мы,
Но с наступленьем первой тьмы
До первой утренней зари
Они так явственно подсвечены,
Как бы лампадой, изнутри.

Какое точное сравнение нашел поэт! Как дорог всем нам в человеке этот внутренний свет, душевная теплота, «робкое свечение», которое ярче иных огней (Галина Балахонova).

* * *

В стихах Михаила Небогатова нет броских образов, неожиданных захватывающих рифм. Зато есть глубинная, незаметная с первого взгляда нежность. Нежность к людям, к земле, к Родине. Это нежность не грустная есенинская, от которой становится чего-то жаль и порой всплакнуть хочется, а такая, что хочется жить и жить! «И в сердце — чувство неподдельное, что в жизни нет конца и края».

До сих пор стоит в глазах образ березки на заре: «Так она листвою засветилась, что погаснуть больше не смогла». Я подумала: «Вот бы людям «засветиться» — любовью друг к другу, добротой. И тоже — на всю жизнь».

При чтении же стихотворения «Вечный огонь» приходили другие мысли: «А что, действительно, будет, когда умрут люди, пережившие войну? Неужели о тех, кто погиб, защищая Родину, никто не вспомнит?» Нет, утверждает Михаил Небогатов, «земля их не забудет»...

Разные стихи Михаила Небогатова. Разные раздумья. О том, «что есть добро и зло». О жизни, которая в конце концов все «расставит по местам»... (Татьяна Ворончихина).

* * *

Все творчество Игоря Киселева связано со старой, но по-настоящему современной сегодня темой Добра. Это качество, утверждает поэт, делает человека человеком.

В стихах Игоря Киселева наряду с жизнеутверждающими звучат и грустные нотки. Это переплетение есть в самой жизни, связано с ее сокровенной сутью. Человек не хочет уходить из жизни, хочет как-то задержать ее, сделать ее вечностью. «Дней все меньше впереди. Я готов кричать любому: — Погоди, не уходи».

Каждый новый день несет в себе что-то новое, неизвестное. И в каждом дне человек что-то ждет для себя:

Ждем погоды, воскресенья,
Нетерпением полны,
Ждем везенья и веселья,
Лета, осени, весны.

А читатели еще многого ждут от стихов Игоря Киселева (Наталья Жукова).

* * *

Анатолий Саулов... Его уже нет на земле, которую он так любил. Прожил он всего двадцать шесть лет. И все его стихи дышат молодостью, нежностью.

Как ласково он говорит о своей матери, о своем детстве, о родине! Сам о себе говорит:

...А душа моя светла.
Может, правда меня мама
Под березою нашла?

Саулова звала, манила жизнь:

Лететь на машинах попутных,
Бывать в незнакомых местах...

Посмертно был выпущен сборник стихов Анатолия Саулова, который называется символично — строчкой из его стихотворения: «Я боюсь опоздать». Он и впрямь боялся опоздать, торопился жить и писать, сказать свое слово.

В поэзии Анатолия Саулова живут разные люди, звучат разные темы. Он писал о деревне, о родной русской речи, о труде, о войне. Но все темы были пропущены через одну душу. Душу, что находилась еще в процессе становления:

...Весь я новый и смутный,
Как набросок стиха.

Сам он в чем-то и остался «наброском стиха». Но живут его произведения. Чистые, светлые, весенние, добрые всходы родной земли (Светлана Писничева).

* * *

Подборка стихов Валерия Зубарева — одна из самых интересных в сборнике. У этого поэта есть свой, неповторимый взгляд на мир. А это, по-моему, главное в искусстве.

Вот характерное для Зубарева стихотворение «Осенние дни обнажили...» Лирическому герою грустно. Он не может правильно понять, «прочитать» лес. Он, горожанин, давно потерял связь с миром природы. Кажется: ну так что же? Тема эта совсем не новая... Стре-

мясь понять своеобразие стихотворения, обратим внимание на композицию. Две последние строки особенно важны поэту: они отделены от основного текста:

И тянут деревья обрывки
потерянных связей со мной.

Трагедия не только в том, что человек потерял связь с природой. И природа, в свою очередь, обособилась, замкнулась в себе и, как бы мстя человеку, не открывает ему своего истинного смысла.

Впрочем, вот другое стихотворение — «Во Вроцлаве я только год». Невнятные его заключительные строки:

«Привет!» — кричат. Кричу: «Привет!»
Бежим. Соединяем руки.

Здесь все легковесно, искусственно. Остается только недоумение: зачем это написано?

При чтении стихотворения Зубарева «От работы большой утомился» я вспомнил небо Аустерлиц, точнее — восприятие этого неба Андреем Балконским. Хотя в стихотворении и слова-то такого нет — «небо». А есть лишь слово «птица», которое дважды повторяется. Кстати, о словарном составе стихотворения. Мы встречаем здесь: «вышина», «парящая птица», «бренное тело», «душа», «голубое небытие», «волшебство забытья». На первый взгляд, все это звучит выспренно. Но это только на первый взгляд. В самом стихотворении мы не ощущаем высокопарности. Мы думаем о вечном — о смысле человеческого бытия (Иван Есаулов).

* * *

Много людей на земле. И много дорог. Каждый идет по своей. Но любая из этих дорог начинается с родного дома, с колыбели. Время нельзя повернуть вспять, невозможно вернуть детство. Но есть память, которая настойчиво возвращает нас в прошлое, к началу... Память живет в стихотворении Любови Никоновой «Родина». Здесь своеобразно выражено мировосприятие поэтессы, открывается сложный, меняющийся образ Родины, которая как бы растет вместе с человеком: «чем больше человек, тем больше родина».

В стихах своих Любовь Никонова размышляет и о том, из чего «создается» день («Восходит день»), и о том, как, из чего «создает» себя человек («Под знаком любимой звезды»).

Каждое ее стихотворение — это новая, живая, интересная мысль.

О чем стихи «Безответная любовь»? О том (говоря словами автора), как «трудно друг друга понять на земле». Об этом уже писали много и писали хорошо. Но у Никоновой ста-

рая тема поворачивается новой гранью. Горький вопрос лирической героини, кажется, обращен не к одному человеку, а к людям вообще...

И еще одно стихотворение хочется упомянуть, хочется процитировать — «Какой любви исполнена печаль!» По-моему, в этих стихах наиболее полно раскрывается художественный мир Никоновой:

Люблю простое — травы, небеса —
не потому, что мне оно служило,
не потому, что радует глаза,
а потому, что это вечно живо,
что в этом есть глубинный смысл
любви...

Стихи Любви Никоновой (я опять цитую) как «случайный звук», как «дуновенье ветра былую боль напоят незначай, но эта боль теперь светлее света»...

И чем больше я перечитываю Любовь Нионову, тем «ближе к жизни хочется припасть, и жить, и жить, благословив источник» (Лариса Кресталь).

Признаюсь: раньше я никогда не слышала имени Владимира Матвеева. Только сейчас познакомилась с некоторыми его стихотворениями. Особенно понравились такие стихи, как «Верность традиции» и «Новаторы от эстрады». С юмором здесь говорится об актуальных проблемах нашей жизни. Автор нередко добивается своей цели с помощью иронии. Я, например, вспомнила многие наши модные, но псевдооригинальные ансамбли, читая такие строки:

Поиск становится
все интересней,
в эстраде
явные сдвиги намечены:
русские парни
русские песни
для русских поют
на заморском наречии.

И еще. Очень тонко имитирует Владимир Матвеев стиль и голос наших кузбасских поэтов в цикле своих пародий «Посадил дед репку...» (Наталья Тараканчикова).

Прочитала я сборник «Дыхание земли родимой», и ничего не осталось в памяти. Почти ничего... Запомнилось стихотворение Виктора Баянова «Мы в детстве смотрели немое кино» и Михаила Небогатова «Стога». Больше в этой книге я ничего для себя не нашла. Правда, если честно, то я не люблю поэзию (современную) (Елена Вострикова).

Стихи Валентина Махалова похожи на песни. Они — откровенный разговор с читателем о самых глубоких душевных переживаниях. Мне приходилось слышать мнение, что поэзия В. Махалова слишком проста и даже упрощенна. Это не верно. Стихи его сразу понятны именно из-за своего песенного происхождения.

Как у всякого поэта, влюбленного в свою родину, у В. Махалова много стихов о родной земле, о ее природе. Поэт чувствует свою сопричастность с нею. Вспомним стихотворение «Песни». Всякий трудный или счастливый период жизни отражается в песнях, и, задумываясь о прошедших испытаниях, поэт вспоминает именно песни, которые звучали в те времена... В. Махалов много пишет о природе, выступает в ее защиту. Стихи об этом полны драматизма:

...Я от памяти скрыться не в силах:
Наяву и в забывчивых снах
Будут лязгать моторные пилы
И предсмертно деревья стонать.

Но все же поэт уверен, что человек снова обретет природу, а значит, и себя.

Валентин Махалов любит родину и природу всей душой, по-детски, открыто. «Состарюсь, но не повзрослею», — заметил он в одном из стихотворений. Хорошо, что эта детская любовь сохраняется в его поэзии. Стихи от этого только выигрывают (Игорь Кузнецов).

Владимир Мамаев двенадцатилетним* ушел на фронт, освобождал Донбасс, Северную Таврию, Севастополь, Прибалтику, он до сих пор пишет о войне. Два стихотворения Владимира Мамаева «И пусть давно мне не двенадцать» и «Моему отцу» объединяет одна тема. Тема ответственности нас, живущих сегодня, перед теми, кто положил за это жизнь.

А судьей поэта, высшим и строгим, остается его память, его собственная юность:

Он для меня — судья и
совесть,

Тот щуплый хлопчик
из войны...
(Ирина Козлова).

Я несколько раз перечитывала стихотворение Леонида Торгаева «Начало лета». Я вжилась в это стихотворение, и мне кажется:

* Он был сыном полка.

это я стою перед бескрайней цветущей равниной и «что-то доброе творится в сердце любящем моем». Ценность этого стихотворения в том, что каждый, кто прочитает его, поверит в свое бессмертие — будет чувствовать себя хозяином, творцом и знать, что его дыхание вплетается в дыхание «матери-кормилицы земли».

Не менее сильное впечатление произвело на меня стихотворение «Мы топчем безжалостно травы...» Да, поэт прав: «ходим по краю беды», да, иногда «тщетно взывает природа к заглохшей людской доброте»... Это одна из тех проблем, которые никогда не могут оставить равнодушным. В стихотворении Леонида Торгаева звучат вопросы современникам: зачах ли в нас «разума голос»? А может быть, мы «просто душой оскудели в житейских своих мелочах»?

Емко и ярко сказано здесь о том, о чем болит сердце у многих (Елена Мучак).

Валентина Пьянкова — молодая поэтесса. Живет в Новокузнецке. Работает в газете. Это ее биография. А свое дарование Пьянкова наиболее интересно выявляет в стихах о природе, о родном крае. Природа помогает человеку открыть в себе истоки творчества, понять свою жизнь, оценить по-своему мир вокруг себя. «Полнее близость меж людьми перед лицом природы», — говорит Пьянкова.

Природа заставляет поэтессу думать глубоко, думать о самом главном. Валентина Пьянкова думает о любви. Не случайно в ее стихах радость любви «чиста и остра», как «спелость зерна налитого в колосьях, как свежесть воды родниковой в колодцах». Поэзия всегда говорит по-новому о старых истинах (Людмила Абрамова).

...Начала читать сборник не традиционным способом — от начала до конца, а так: выбираю в оглавлении интересную фамилию и читаю. И вдруг, абсолютно случайно, открыла для себя стихи Евгения Буравлева. Стихи понравились сразу.

Есть среди них и такие, что не забудутся никогда:

Оттого, что глаза чьи-то станут теплее, доверчивей, чище — тебя не убудет.
Может, в мире как раз не хватает твоей доброты.

По-моему, в этом состояла и заповедь самого поэта (Елена Перцева).

Поколение Евгения Буравлева мужало вместе со своей страной. Биография поколения определила и весь жизненный путь Евгения

Буравлева, и его поэзию. «...Из житейских былин Книжки тоненькой первый блин», — признается потом автор. Он писал о войне и стройках, о красоте труда и непросом утверждении человеческой личности. Все это было его биографией.

Приходится сожалеть о том, что Евгений Буравлев так рано ушел из жизни. В пятьдесят три года... Но стихи его по-прежнему молоды (Татьяна Жукова).

Хорошо, что в сборнике рядом со стихами поэтов-современников напечатаны стихи поэтов, погибших в Великую Отечественную войну. Легко заметить: творчество авторов, отделенных друг от друга десятилетиями, перекликается. Всех их, безусловно, объединяет любовь к родной сибирской земле. Владимир Чугунов погиб в июле 1943-го на Курской Дуге. В своих стихах он спокойно размышлял о смерти. Он радовался тому, что остается после погибших большой шумный мир: «А завтра в бой! Быть может, смерть свершит над кем-нибудь расправу. Он упадет на землю, в травы, Но жаворонок будет петь...»

Погибший в 1943-м на Смоленщине Георгий Доронин также писал о красоте родного края, о человеке, живущем «среди лесов и пашен». Этот человек встал на защиту земли.

И замполит сказал ребятам:

— Здесь мы. Здесь немцы
не пройдут.

(Николай Перервенко).

Лирический герой Геннадия Юрова уже не молод, но еще и не стар. Вместе со зрелостью возрастной к нему приходит и зрелость души, чувств, мыслей.

Легко заметить: герой начинает осознавать бег времени только тогда, когда от него уходит беспечная молодость.

Свое познание жизни он начинает с природы — птиц, животных, тайги, реки. Потом пытается понять душу любимой, горе и счастье окружающих людей. Только почувствовав чужую жизнь, утверждает Геннадий Юров, человек имеет право называться человеком.

Созрев духовно, лирический герой торопится сказать свое слово в этой жизни. Он понимает, что «просрочил все свои сроки», что для творчества «лучшего момента» ждать не надо. Потом может быть поздно. Творчество всегда сладостно, тревожно, дерзостно, прощально.

И еще об одной важной теме в поэзии Геннадия Юрова. Это тема «человек и его город». Чтобы открыть большой мир, убеждает нас поэт, надо открыть и ценить мир малый — свой

родной город. Пусть он не похож на столицы, не стоит его хулить. Ведь в этом городе к тебе приходили восторг и печаль, юность, зрелость, опыт. Город подарил тебе то, чем ты так дорожишь,— друзей, любимую... Нельзя позабыть «начало всех начал», нельзя позабыть исток. Иначе можно не прийти к своему «устю». Поэзия Геннадия Юрова о «Начале Всех Начал—Ростка, Рассвета, Снега и Истока». В этом ее сила, в этом, на мой взгляд, и ее будущее (Регина Саввон).

* * *

Очень интересно стихотворение Александра Ибрагимова «Листопад». Автор отошел от общепринятых клише в изображении осени и... любви. Стихотворение, как мозаика, собрано из отдельных, совсем не зависящих, на первый взгляд, друг от друга эпизодов—эпизоды словно вырваны из будничной «прозы

жизни». Ибрагимов поэтизирует эти моменты, связывает их общей мыслью—осенним настроением, образом осеннего листа. Этот лист то «еще полуживой», «полуозябший», «плывущий». А вот «желтый лист расплеснут на спине», вот он «горит в разлуке лиц». Он возвращается к нам, «знакомый желтый лист», как... возвращается осень (Евгений Драпкин).

...Читая суждения студентов о сборнике «Дыхание земли родимой», думаешь не только об этих отзывах и не только о книге. Думаешь о людях, которые живо встают за строчками на тетрадных листках. Какими они станут завтра—через пять, десять лет? Не разлюбят ли поэзию? Сумеют ли пойти дальше в своем понимании литературы?

И какой будут поэзия, поэты? В том числе и те, о которых спорили студенты...

Подготовил Е. ЗАЛЕСИНСКИЙ

ТРИ КНИЖКИ В СТОЛИЦЕ

Выход книжек кузбасских прозаиков и поэтов в столице становится, особенно за последние два-три года, традиционным. Это лишний раз подтверждает, что понятие «областная литература» чисто условное, географическое, что заслуживающая внимания вещь всегда найдет дорогу к широкому читателю.

Павел Майский. «Солнечная деляна». (Москва. «Советский писатель». 1979 г.).

В книжку новокузнецчанина Павла Майского вошли стихи о родной земле, о прочной связи поэта с людьми родного края, с их сегодняшними делами, о преемственности народных идеалов.

Поиски гармонии, поиски целостного ощущения бытия в современном мире характерны для поэтического мироощущения автора. Лирический герой поэзии П. Майского находит силы и радость в духовном соприкосновении с людьми, с природой, со всем родным и близким, что зовется родиной:

...Страницы жизни мысленно листая,
По красоте былой твоей скорбя,
Я понял, мать-земля моя святая,
Мы ничего не значим без тебя!

Виктор Чугунов. «Таежина». (Москва. «Современник». 1980 г.).

В повестях и рассказах рано ушедшего от нас писателя из Междуреченска Виктора Чугунова талантливо и своеобразно раскрываются характеры людей с непростыми, порой остро драматичными судьбами.

Отдельным изданием в Москве повести и рассказы нашего земляка вышли впервые. Вот что пишет в предисловии к ним о прозаике, о сути его творческих поисков Вячеслав Шугаев.

«Виктор Чугунов неутомимо искал в жизни подвижников, поэтому рассказы его населяют страстные, неуживчивые, одержимые люди. Люди эти всегда живут крайним напряжением души: самозабвенно работают, самозабвенно любят, ненавидят, самозабвенно служат Родине».

Владимир Куропатов. «Люди с этого света». (Москва. «Современник». 1980 г.).

В сборник кемеровского писателя Владимира Куропатова вошли рассказы «Белая рубашка», «Сашка—водовоз», «Дьяволица», «Пожили-поработали» и другие. Они не сложны по сюжету, но подкупают в них доскональное знание жизни, правдивость описаний, зрелость мыслей, ненавязчивое раскрытие темы.

Любя своих героев, автор не приукрашивает их, не идеализирует, а рисует такими, какими видит в будничной жизни.

В. СЕМЕНОВ

Анатолий Паршинцев

УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА

ЮМОРЕСКА

Толпа штурмовала автобус восемнадцатого маршрута. Она не поддавалась призывам к порядку, а на мужчин совершенно не действовали женские реплики о потере ими джентльменских качеств.

«Не пробьюсь», — тоскливо подумал худенький гражданин Коля Федоров, делая одну за другой попытки пробраться в автобус.

И тут шофер, очевидно, щадя свои нервы, включил в салоне динамик, из которого приятный женский голос произнес:

— Начинаем утреннюю гимнастику. Спокойно, не спеша поднимитесь на носочки, руки поднимите вверх...

Коля машинально выполнил этот совет и не понятно как просочился в толпу, которая и внесла его в автобус.

— ...свободно выдохните, а затем опять — глубокий вдох, — сказал динамик.

Коля опрометчиво выдохнул, а сделать глубокий вдох не сумел: в его живот больно впился острым углом чей-то портфель. И Коля, наверное, умер бы от удушья, если б динамик быстренько не предложил спасительный вариант:

... — На носочки... выше, выше, еще выше... Вдох...

Немного полегчало, хотя на носочках стоять было не совсем удобно. Пружина живот, Коля

пытался втиснуть им портфель соседа в щелочку между двумя пассажирами. Голос ведущей программы утренней гимнастики подбодрил:

— Веселее, веселее... не расслабляйтесь. Если вам трудно, передохните и начинайте снова...

Тут объявили остановку. Следующая была Колина.

— Бег на месте, — сказал динамик. — Энергичней, энергичней. Раз-два-три, раз-два-три...

Коля в такт засеменял ногами, пытаясь прорваться к двери. Не получилось. И тут задумчивый голос из динамика подсказал:

— Поработаем локтями. Отведите их от туловища и... начали! Вперед-назад, вперед-назад. Продолжайте, продолжайте. У вас хорошо получается.

Воодушевленно работая локтями, Коля приблизился к заветной цели. Автобус остановился, дверь со скрипом «разъехалась». С последними словами из гимнастической программы «...а теперь, товарищи, приступайте к водным процедурам...» Коля, как пробка из бутылки с шампанским, вылетел в раскрытую дверь и распластался в придорожной луже.

— До свидания! Счастливого вам рабочего дня! — жизнерадостно произнес динамик, и автобус, пыхтя и отдуваясь, пополз дальше.

Никита Емелин

МЕЛОЧИ БЫТА

А ВСЕ-ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ!

Когда заведующего столовой упрекнули в том, что на официантку Тпрукину за месяц поступило сто жалоб, он ответил:

— А все-таки она вертится!

ДВА САПОГА ПАРА

К такому выводу пришла экспертная комиссия, проверяя продукцию Пузыринской обувной фабрики. Это уже второй случай подобного совпадения со дня основания фабрики.

НИ В КАКИЕ ВОРОТА НЕ ЛЕЗЕТ

шифоньер, изготовленный Храповицким мебельным комбинатом. Сейчас конструкторы комбината разрабатывают проект соответствующих ворот, которые будут продаваться вместе с шифоньером.

ДВУХ ЗАЙЦЕВ УБИЛ

в прошедшем сезоне лучший охотник района тов. Раскорякин.

— Не за горами время, — заявил, комментируя это событие, председатель общества охотников М. Н. Ениколопов, — когда результат тов. Раскорякина станет доступен всему нашему обществу.

МЯГКОТЕЛЫЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ

Репортер Хвомкин, посланный осветить открытие фирменного магазина «Дефицитная книга», в редакцию не вернулся.

— Мягкотелый интеллигент! — сказала уборщица магазина, соскабливая со стены остатки бедного репортера.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ВОЛЬНОСТЬ

Журналист Квакин обыграл в бильярд местного поэта Рымникского. Местный поэт Рым-

никский в горячах ударил Квакина кием по голове.

Непростительная вольность!

ДЛЯ ВАС, ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ

Хлюпинский домостроительный комбинат освоил выпуск квартирных дверей с широкоформатной замочной скважиной. Как пишет в редакцию пенсионерка Лялина, новинка пришла по вкусу.

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

По окончании спектакля «Запорожец за Дунаем» на выходе к публике артист Сякин упал в оркестровую яму. Это — пятидесятое падение известного в своем кругу артиста в роли Караса. Зрители и товарищи по работе тепло поздравили юбиляра.

Одновременно приказом директора буфетчице театра категорически рекомендовано не отпускать под аванс.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Работника нашего учреждения, подписавшегося во вчерашнем номере газеты псевдонимом «Острый глаз», просят явиться в дирекцию с заявлением на расчет.



Летела, летела,
На головку села...

Фото Н. Карева



Эдуард Гольцман

ЧЕРЕПАХА

Черепаха вместе с домом
Шла тропинкой незнакомой.
Видит: камень на пути.
— Разрешите мне пройти!
Камень путь не уступил.
Вот уж вечер наступил.
Черепаха ждет с тоской:
Вот невежливый какой!

КУ-КУ

На длинное
«Ку-ка-ре-ку!»
Звучит короткое
«Ку-ку!»
Кудахчут куры во дворе:
— А куд-куда
Девалось «ре»?

ЖИРАФ

Долгий дождь зверям наскучил,
И вздохнул гиппопотам:
— Ну-ка, глянь, жираф, за тучи —
Может, солнце где-то там?

ОТВАЖНЫЙ ЛИСТИК

Мотылек в речном затоне
Бьется крылышками:
Тонет!
Не колеблясь,
Листик маленький,
С гибкой ветки в воду прыг! —
И спасательным корабликом
Обернулся в тот же миг.

г. Новокузнецк



УБЕЖАЛО МОЛОКО

Мы вздыхаем глубоко:
Убежало молоко!
Убежало!
Вот беда!
Убежало?
А куда?
Может, в небе облака —
Это все из молока?
Вы, наверное, видали,
Как в неведомые дали
Проплывало высоко
В синем небе молоко?

ФЕВРАЛЬСКИЕ СКВОРЕЧНИКИ

Еще не скоро с юга
Скворчинный перелет,
И только злая вьюга
В скворечниках живет.
Но там, на самом доньшке,
Пушисты и легки,
Теплеют тихо перышки,
Как в пепле угольки.

БЕСЕДА

«Взрослым очень интересно
То,
Что всем давно известно:
«Как зовут?», и
«Кем ты будешь?», и
«Кого ты больше любишь —
Маму, папу или братца?» —
Вот им в чем не разобраться!
А вот завтра я поеду
На беседу к логопеду! —
Говорила наша Света, —
И не спросит он про это!
Он мне скажет:
— Порычи!
Он попросит:
— Помычи!
Пошип и пожужжи!
И язык мне покажи!
Хорошо пойдет беседа
У меня и логопеда!
Р-rrr!»



Рисунок автора.

Наши авторы

Глазырин Александр Андреевич. Родился в 1935 году в селе Бенжереп Кемеровской области. Окончил Омское штампо-техническое училище, служил в армии, работал слесарем, мастером. Сейчас работает художником в Центральных электромеханических мастерских в городе Осинники.

Печатался в журналах «Советский воин», «Неман», «Ашхабад» и в коллективных сборниках.

Климычев Борис Николаевич. Автор поэтических сборников: «Красные тюльпаны», «Валторна за стеной», «Тихий свет» и другие.

Член Союза писателей. Живет в Томске.

Ябров Анатолий Степанович. Родился в 1934 году в деревне Окулевка Тюменской области.

Автор книг прозы «Стриженые», «Накладки» (Кемерово) и «Жди нас, океан!» (Москва, Воениздат).

Член Союза журналистов. Живет в Новокузнецке.

Богданов Евгений Анатольевич. Родился в 1953 году в с. Чарыш Алтайского края. Окончил Новокузнецкий педагогический институт. Корреспондент газеты «Сельская правда». Член Союза журналистов.

Его рассказы публиковались в «Огнях Кузбасса». Живет в Новокузнецке.

Валиулин Владимир Галимулович. Родился в 1950 году в г. Новокузнецке. Работает в многотиражной газете «Металлургстрой». Учится заочно в Новокузнецком педагогическом институте.

Публиковался в городской газете. В альманахе печатается впервые.

Лойша Виктор Андреевич. Родился в 1947 году. Окончил Томский государственный университет. По специальности — геолог. Работал в Горной Шории, в Кузнецком Алатау, на Алтае и в Магаданской области. Сейчас работает в газете «Красное знамя» г. Томска.